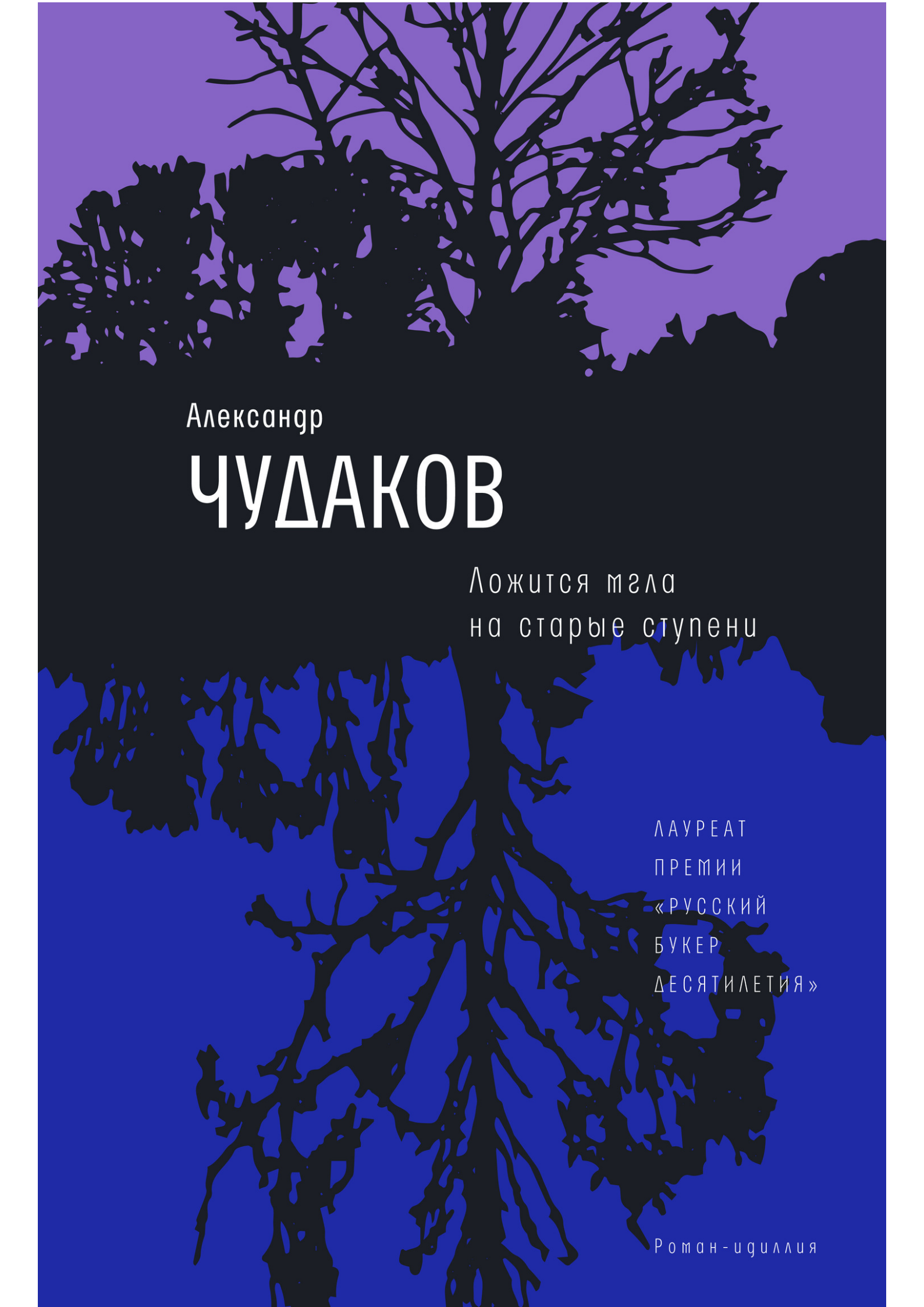




Александр

ЧУДАКОВ

Ложится мгла
на старые ступени

ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ
«РУССКИЙ
БУКЕР
ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

Роман-эпопея

Александр Чудаков

Ложится мгла на старые ступени

«WebKniga»

2001

Чудаков А. П.

Ложится мгла на старые ступени / А. П. Чудаков — «WebKniga», 2001

ISBN 978-5-9691-1072-4

Роман «Ложится мгла на старые ступени» решением жюри конкурса «Русский Букер» признан лучшим русским романом первого десятилетия нового века. Выдающийся российский филолог Александр Чудаков (1938–2005) написал книгу, которую и многие литературоведы, и читатели посчитали автобиографической – настолько высока в ней концентрация исторической правды и настолько достоверны чувства и мысли героев. Но это не биография – это образ подлинной России в ее тяжелейшие годы, «книга гомерически смешная и невероятно грустная, жуткая и жизнеутверждающая, эпическая и лирическая. Интеллигентская робинзонада, роман воспитания, “человеческий документ”» («Новая газета»). Новое издание романа дополнено выдержками из дневников и писем автора, позволяющими проследить историю создания книги, замысел которой сложился у него в 18 лет.

ISBN 978-5-9691-1072-4

© Чудаков А. П., 2001

© WebKniga, 2001

Содержание

1. Армреслинг в Чебачинске	6
2. Претенденты на наследство	9
3. Воспитанница института благородных девиц	14
4. Четвёртая сибирская волна	21
5. Клава и Валя	27
6. Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег?	29
7. Кавалер Большой золотой медали Великого Князя	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Александр Чудаков

Ложится мгла на старые ступени

© Александр Чудаков, 2012

© «Время», 2012

* * *

1. Армреслинг в Чебачинске

Дед был очень силен. Когда он, в своей выгоревшей, с высоко подвёрнутыми рукавами рубахе, работал на огороде или строгал черенок для лопаты (отдыхая он всегда строгал черенки, в углу сарая был их запас на десятилетия), Антон говорил про себя что-нибудь вроде: «Шары мышц катались у него под кожей» (Антон любил выразиться книжно). Но и теперь, когда деду перевалило за девяносто, когда он с трудом потянулся с постели взять стакан с тумбочки, под закатанный рукав нижней рубашки знакомо покатился круглый шар, и Антон усмехнулся.

– Смеёшься? – сказал дед. – Слаб я стал? Стал стар, однако был он прежде млад. Почему ты не говоришь мне, как герой вашего босяцкого писателя: «Что, умираешь?» И я бы ответил: «Да, умираю!»

А перед глазами Антона всплывала та, из прошлого, дедова рука, когда он пальцами разгибал гвозди или кровельное железо. И ещё отчётливей – эта рука на краю праздничного стола со скатертью и сдвинутой посудой – неужели это было больше тридцати лет назад?

Да, это было на свадьбе сына Переплёткина, только что вернувшегося с войны. С одной стороны стола сидел сам кузнец Кузьма Переплёткин, и от него, улыбаясь смущённо, но не удивлённо, отходил боец скотобойни Бондаренко, руку которого только что припечатал к скатерти кузнец в состязании, которое теперь именуют армреслинг, а тогда не называли никак. Удивляться не приходилось: в городке Чебачинске не было человека, чью руку не мог положить Переплёткин. Говорили, что раньше то же мог сделать ещё его погибший в лагерях младший брат, работавший у него в кузне молотобойцем.

Дед аккуратно повесил на спинку стула чёрный пиджак английского бостона, оставшийся от тройки, сшитой ещё перед первой войной, дважды лицованный, но всё ещё смотревшийся (было непостижимо: ещё на свете не существовало даже мамы, а дед уже щеголял в этом пиджаке), и закатал рукав белой батистовой рубашки, последней из двух дюжин, вывезенных в пятнадцатом году из Вильны. Твёрдо поставил локоть на стол, сомкнул с ладонью соперника свою, и она сразу потонула в огромной разлапой кисти кузнеца.

Одна рука – чёрная, с вьёвшейся окалиной, вся переплетённая не человеческими, а какими-то воловьими жилами («Жилы канатами вздулись на его руках», – привычно подумал Антон). Другая – вдвое тоньше, белая, а что под кожей в глубине чуть просвечивали голубоватые вены, знал один Антон, помнивший эти руки лучше, чем материнские. И один Антон знал железную твёрдость этой руки, её пальцев, без ключа отворачивающих гайки с тележных колёс. Такие же сильные пальцы были ещё только у одного человека – второй дедовой дочери, тёти Тани. Оказавшись в войну в ссылке (как чесеирка, – член семьи изменника родины) в глухой деревне с тремя малолетними детьми, она работала на ферме дояркой. Об электродойке тогда не слыхивали, и бывали месяцы, когда она выдаивала вручную двадцать коров в день – по два раза каждую. Московский приятель Антона, специалист по мясо-молоку, говорил, что это всё сказки, такое невозможно, но это было – правда. Пальцы у тёти Тани были все искривлены, но хватка у них осталась стальная; когда сосед, здороваясь, в шутку сжал ей сильно руку, она в ответ так сдавила ему кисть, что та вспухла и с неделю болела.

Гости выпили уже первые батареи бутылок самогона, стоял шум.

– А ну, пролетарий на интеллигенцию!

– Это Переплёткин-то пролетарий?

Переплёткин – это Антон знал – был из семьи высланных кулаков.

– Ну а Львович – тоже нашел советскую интеллигенцию.

– Это бабка у них из дворян. А он – из попов.

Судья-доброволец проверил, на одной ли линии установлены локти. Начали.

Шар от дедова локтя откатился сначала куда-то в глубь засученного рукава, потом чуть прикатился обратно и остановился. Канаты кузнеца выступили из-под кожи. Шар деда чуть-чуть вытянулся и стал похож на огромное яйцо («страусиное», подумал образованный мальчик Антон). Канаты кузнеца выступили сильнее, стало видно, что они узловаты. Рука деда стала медленно клониться к столу. Для тех, кто, как Антон, стоял справа от Переплёткина, его рука совсем закрыла дедову руку.

– Кузьма, Кузьма! – кричали оттуда.

– Восторги преждевременны, – Антон узнал скрипучий голос профессора Резенкампа.

Рука деда клониться перестала. Переплёткин посмотрел удивлённо. Видно, он наддал, потому что вспух ещё один канат – на лбу.

Ладонь деда стала медленно подниматься – ещё, ещё, и вот обе руки опять стоят вертикально, как будто и не было этих минут, этой вздувшейся жилы на лбу кузнеца, этой испарины на лбу деда.

Руки чуть заметно вибрировали, как сдвоенный механический рычаг, подключённый к какому-то мощному мотору. Туда – сюда. Сюда – туда. Снова немного сюда. Чуть туда. И опять неподвижность, и только еле заметная вибрация.

Сдвоенный рычаг вдруг ожил. И опять стал клониться. Но рука деда теперь была сверху! Однако когда до столешницы оставался совсем пустяк, рычаг вдруг пошёл обратно. И замер надолго в вертикальном положении.

– Ничья, ничья! – закричали сначала с одной, а потом с другой стороны стола. – Ничья!

– Дед, – сказал Антон, подавая ему стакан с водой, – а тогда, на свадьбе, после войны, ты ведь мог бы положить Переплёткина?

– Пожалуй.

– Так что ж?..

– Зачем. Для него это профессиональная гордость. К чему ставить человека в неловкое положение.

На днях, когда дед лежал в больнице, перед обходом врача со свитой студентов он снял и спрятал в тумбочку нательный крест. Дважды перекрестился и, взглянув на Антона, слабо улыбнулся. Брат деда, о. Павел, рассказывал, что в молодости тот любил прихвастнуть силой. Разгружают рожь – отодвинет работника, подставит плечо под пятипудовый мешок, другое – под второй такой же, и пойдёт, не сгибаясь, к амбару. Нет, таким хвостом деда представить было нельзя никак.

Любую гимнастику дед презирал, не видя в ней проку ни для себя, ни для хозяйства; лучше расколоть утром три-четыре чурки, побросать навоз. Отец был с ним солидарен, но подводил научную базу: никакая гимнастика не даёт такой разносторонней нагрузки, как колка дров, – работают все группы мышц. Подначитавшись брошюр, Антон заявил: специалисты считают, что при физическом труде заняты как раз не все мышцы, и после любой работы надо делать ещё гимнастику. Дед и отец дружно смеялись: «Поставить бы этих специалистов на дно траншеи или на верх стога на полдня! Спроси у Василия Илларионовича – он по рудникам двадцать лет жил рядом с рабочими бараками, там всё на людях, – видел он хоть одного шахтёра, делающего упражнения после смены?» Василий Илларионович такого шахтёра не видел.

– Дед, ну Переплёткин – кузнец. А в тебе откуда было столько силы?

– Видишь ли. Я – из семьи священников, потомственных, до Петра Первого, а то и дальше.

– Ну и что?

– А то, что – как сказал бы твой Дарвин – искусственный отбор.

При приёме в духовную семинарию существовало негласное правило: слабых, малорослых не принимать. Мальчиков привозили отцы – смотрели и на отцов. Те, кому предстояло нести людям слово Божие, должны быть красивые, высокие, сильные люди. К тому ж у них

чаще бывает бас или баритон – тоже момент немаловажный. Отбирали таких. И – тысячу лет, со времён святого Владимира.

Да, и о. Павел, протоиерей Горьковского кафедрального собора, и другой брат деда, что священствовал в Вильнюсе, и ещё один брат, священник в Звенигороде, – все они были высокие, крепкие люди. О. Павел отсидел десятку в мордовских лагерях, работал там на лесоповале, а и сейчас, в девяносто лет, был здоров и бодр. «Поповская кость!» – говорил отец Антона, садясь покурить, когда дед продолжал не торопясь и как-то даже незвучно разваливать колуном берёзовые колоды. Да, дед был сильнее отца, а ведь и отец был не слаб – жилистый, выносливый, из мужиков-однодворцев (в которых, впрочем, ещё бродил остаток дворянской крови и собачьей брови), выросший на тверском ржаном хлебе, – никому не уступал ни на покосе, ни на трелёвке леса. И годами – вдвое моложе, а деду тогда, после войны, перевалило за семьдесят, был он тёмный шатен, и седина лишь чуть пробивалась в густой шевелюре. А тётка Тамара и перед смертью, в свои девяносто, была как вороново крыло.

Дед не болел никогда. Но два года назад, когда младшая дочь, мать Антона, переехала в Москву, у него вдруг начали чернеть пальцы на правой ноге. Бабка и старшие дочери уговаривали сходить в поликлинику. Но в последнее время дед слушался только младшую, её не было, к врачу не пошёл – в девяносто три ходить по врачам глупо, а ногу показывать перестал, говоря, что всё прошло.

Но ничего не прошло, и когда дед всё же показал ногу, все ахнули: чернота дошла до середины голени. Если б захватили вовремя, можно было бы ограничиться ампутацией пальцев. Теперь пришлось отрезать ногу по колено.

Ходить на костылях дед не выучился, оказался лежачим; выбитый из полувекового ритма целодневной работы на огороде, во дворе, загрустил и ослаб, стал нервным. Сердился, когда бабка приносила завтрак в постель, перебирался, хватаясь за стулья, к столу. Бабка по забывчивости подавала два валенка. Дед на неё кричал – так Антон узнал, что дед умеет кричать. Бабка пугливо запихивала второй валенок под кровать, но и в обед, и в ужин всё начиналось снова. Убрать второй валенок совсем почему-то догадались не сразу.

В последний месяц дед совсем ослабел и велел написать всем детям и внукам, чтобы приехали проститься и «заодно решить кое-какие наследственные вопросы» – эта формулировка, говорила внучка Ира, писавшая письма под его диктовку, повторялась во всех посланьях.

– Прямо как в повести известного сибирского писателя «Последний срок», – говорила она. Библиотекарша районной библиотеки, Ира следила за современной литературой, но плохо запоминала фамилии авторов, жалуясь: «Их так много».

Антон подивился, прочитав в письме деда о наследственных вопросах. Какое наследство?

Шкаф с сотней книг? Столетний, ещё виленский, диванчик, который бабка называла козеткой? Правда, имелся дом. Но он был старый и ветхий. Кому он нужен?

Но Антон ошибался. Из тех, кто жил в Чебачинске, на наследство претендовали трое.

2. Претенденты на наследство

В старухе, встречавшей его на перроне, свою тётку Татьяну Леонидовну он не узнал. «Годы наложили неизгладимый отпечаток на её лицо», – подумал Антон.

Среди пяти дедовых дочерей Татьяна считалась самой красивой. Она раньше всех вышла замуж – за инженера-путейца Татаева, человека честного и горячего. В середине войны он дал по морде начальнику движения. Тётя Таня никогда не уточняла за что, говоря только: «ну, это был мерзавец».

Татаева разбронировали и отправили на фронт. Он попал в прожекторную команду и как-то ночью по ошибке осветил не вражеский, а свой самолет. Смершевцы не дремали – его арестовали тут же, ночь он провёл в ихней арестной землянке, а утром его расстреляли, обвинив в преднамеренных подрывных действиях против Красной Армии. Впервые услышав эту историю в пятом классе, Антон никак не мог понять, как можно было сочинить подобную чушь, что человек, находясь в расположении наших войск, среди своих, которые тут же его схватят, сделал бы такую глупость. Но слушатели – два солдата Великой Отечественной – нисколько не удивились. Правда, реплики их – «разнарядка?», «не добирали до цифры?» – были ещё непонятней, но Антон вопросов никогда не задавал и, хоть его никто не предупреждал, нигде домашних разговоров не пересказывал – может, поэтому при нём говорили не стесняясь. Или думали, что он ещё мало что понимает. Да и комната одна.

Вскоре после расстрела Татаева его жену с детьми: Вовкой шести лет, Колькой – четырех и Катькой – двух с половиной отправили в пересыльную тюрьму в казахстанский город Акмолинск; четыре месяца она ждала приговора и была выслана в совхоз Смородиновка Акмолинской области, куда они добирались на попутных машинах, подводах, быках, пешком, шлёпая в валенках по апрельским лужам, другой обуви не было – арестовали зимой.

В посёлке Смородиновка тётя Таня устроилась дояркой, и это была удача, потому что каждый день она в грелке, спрятанной на животе, приносила детям молоко. Никаких карточек ей как ЧСИР не полагалось. Поселили их в телятнике, но обещали землянку – вот-вот должна была умереть её обитательница, такая же ссыльно-поселенка; каждый день посылали Вовку, дверь не запиралась, он входил и спрашивал: «Тётенька, вы ещё не померли?» – «Нет ещё, – отвечала тётенька, – приходи завтра». Когда она наконец умерла, их вселили на условия, что тётя Таня покойницу похоронит; с помощью двух соседок она повезла на ручной тележке тело на кладбище. Новая насельница впряглась в ручки-оглобли, одна соседка подталкивала тележку, то и дело застревавшую в жирном степном чернозёме, другая придерживала завёрнутое в мешковину тело, но тележка была маленькая, и оно всё время скатывалось в грязь, мешок скоро стал чёрный и липкий. За катафалком, растянувшись, двигалась похоронная процессия: Вовка, Колька, отставшая Катька. Однако счастье было недолгим: тётя Таня не ответила на притязания заведующего фермой, и её из землянки снова выселили в телятник – правда, другой, лучший: туда поступали новорожденные телки. Жить было можно: помещение оказалось большое и тёплое, коровы телились не каждый день, случались перерывы и по два, и даже по три дня, а на седьмое ноября вышел праздничный подарок – ни одного отёла целых пять дней, всё это время в помещении не было чужих. В телятнике они прожили два года, пока любвеобильного заведующего не пырнула вилами-трёхрожками возле навозной кучи новенькая доярка – чеченка. Пострадавший, дабы не подымать шуму, в больницу не обратился, а вилы были в навозе, через неделю он умер от общего сепсиса – пенициллин в этих местах появился только в середине пятидесятых.

Всю войну и десять лет после тётя Таня проработала на ферме, без выходных и отпусков, на руки её страшно было смотреть, и сама она стала худа до прозрачности – пройдисвет.

В голодном сорок шестом бабка выписала старшего – Вовку – в Чебачинск, и он стал жить с нами. Был он молчалив, никогда ни на что не жаловался. Сильно порезав однажды палец, залез под стол и сидел, собирая капавшую кровь в горсть; когда наполнялась, осторожно выливал кровь в щель. Он много болел, ему давали красный стрептоцид, отчего его струйка на снегу была алой, чему я очень завидовал. Был он старше меня на два года, но пошёл только в первый класс, я же, поступив сразу во второй, был уже в третьем, чем перед Вовкой страшно задавался. Наученный дедом читать так рано, что не помнил себя неграмотным, высмеивал читавшего по складам братца. Но недолго: читать он научился быстро, а складывал и умножал в уме к концу года уже лучше меня. «В отца, – вздыхала бабка. – Тот все расчёты делал без логарифмической линейки».

Тетрадей не было; учительница сказала, чтобы Вовке купили какую-нибудь книгу, где бумага побелее. Бабка купила «Краткий курс истории ВКП(б)» – в магазине, где продавался керосин, графины и стаканы производства местного стеклозавода, деревянные грабли и табуретки местного же промкомбината, стояла ещё и эта книга – целая полка. Бумага в ней была наилучшая; Вовка выводил свои крючки и «элементы букв» прямо поверх печатного текста. Перед тем как текст навсегда пропадал за ядовитыми фиолетовыми элементами, мы его внимательно прочитывали, а потом экзаменовали друг друга: «У кого был мундир английский?» – «У Колчака». – «А табак какой?» – «Японский». – «А кто ушёл в кусты?» – «Плеханов». Вторую часть этой тетрадки Вовка озаглавил «Рыхметика» и решал там примеры. Начиналась она на знаменитой четвёртой – философской – главе «Краткого курса». Но учительница сказала, что под арифметику надо завести особую тетрадь – для этого отец дал Вовке брошюру «Критика Готской программы», но она оказалась неинтересной, только предисловие – какого-то академика – начиналось хорошо, со стихов, правда, записанных не в столбик: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма».

Вовка проучился в нашей школе только год. Я писал ему письма в Смородиновку. Видимо, в них было что-то обидное и хвастливое, потому что Вовка вскоре прислал мне в ответ письмо-акrostих, который расшифровывался так: «Антоша англичанин хвастунок». Центральное слово составилось из стихов: «А ты всё же задаёшься, Надо меньше воображать, Говоришь, хотя смеёшься, Лишь не надо обзывать. И хотя английский учишь, Часто это не пиши, А как это ты получишь, Напиши мне от души» и т. д.

Я был потрясён. Вовка, который всего год назад на моих глазах читал по слогам, теперь писал стихи – да ещё акrostихи, о существовании которых в природе я и не подозревал! Много позже Вовкина учительница говорила, что другого такого способного ученика не помнит за тридцать лет. В своей Смородиновке Вовка окончил семь классов и школу трактористов и комбайнеров. Когда я приехал по письму деда, он жил всё там же, с женой-дояркой и четырьмя дочками.

Тётя Таня перебралась с остальными детьми в Чебачинск; отец вывез их из Смородиновки на грузовике вместе с коровой, настоящей симменталкой, которую не бросать же было; всю дорогу она мычала и стучала рогами о борт. Потом он устроил среднего, Кольку, в школу киномехаников, что было не так просто – после плохо залеченного в детстве отита он оказался глуховат, но в комиссии сидел бывший ученик отца. Начав работать киномехаником, Колька проявил необычайную разворотливость: продавал какие-то поддельные билеты, которые подпольно ему печатали в местной типографии, на сеансах в туберкулёзных санаториях с больных брал плату. Жулик из него вышел первостатейный. Интересовали его только деньги. Нашёл богатую невесту – дочь известной местной спекулянтки Мани Делец. «Ляжет под одеяло, – жаловалась свекрови молодая в медовый месяц, – и отвернётся к стенке. Я и грудью, и всем прижимаюсь, и ногу на него кладу, а потом тоже отвернусь. Так и лежим, задница к заднице». После женитьбы купил себе мотоцикл – на машину тёща денег не дала.

Катка в первый год жила у нас, но потом ей пришлось отказать – с первых дней она подворовывала. Очень ловко крала деньги, спрятать которые от неё не было никакой возможности – она находила их в швейной шкатулке, в книгах, под радиоприёмником; брала только часть, но ощутимую. Мама обе зарплаты, свою и отцовскую, стала носить в портфеле в школу, где он в безопасности валялся в учительской. Лишившись этого дохода, Катка стала таскать чайные серебряные ложки, чулки, однажды украла трёхлитровую банку подсолнечного масла, за которым Тамара, другая дочь деда, стояла в очереди полдня. Мама определила её в медучилище, что тоже было непросто (училась она скверно) – опять же через бывшую ученицу. Став медсестрой, жулила не хуже брата. Делала какие-то левые уколы, таскала из больницы лекарства, устраивала липовые справки. Оба были жадны, постоянно врали, всегда и везде, в крупном и в мелочах. Дед говорил: «Они виноваты только вполтину. Честная бедность – всегда бедность до определённых пределов. Здесь же была нищета. Страшная – с младенчества. Нищие не бывают нравственными». Антон деду верил, но Катку и Кольку не любил. Когда дед умер, его младший брат, священник в Литве, в Шауляе, где когда-то было имение их отца, прислал на погребение крупную сумму. Почтальонку встретил Колька и никому ничего не сказал. Когда от о. Владимира пришло письмо, всё вскрылось, но Колька заявил, что деньги положил на окошко. Сейчас тётя Таня жила у него, в казённой квартире при кинотеатре. На дом зарился, видимо, Колька.

Старшая дочь Тамара, всю жизнь прожившая со стариками, так и не вышедшая замуж, доброе, безответное существо, и не догадывалась, что может на что-то претендовать. Она топила печь, варила, стирала, мыла полы, гоняла корову в стадо. Стадо пастух пригонял вечером только до околицы, где коров разбирали хозяйки, а коровы, которые умные, шли дальше сами. Наша Зорька была умная, но иногда что-то на неё находило и она убегала за речку к Каме-нухе или ещё дальше – в излоги. Корову надо было найти до темноты. Бывало, что её искали дядя Лёня, дед, даже мама, я пробовал трижды. Никто не нашёл ни разу. Тамара находила всегда. Мне эта её способность казалась сверхъестественной. Отец объяснял: Тамара знает, что корову *надо* найти. И находит. Это было не очень понятно. В работе она была целыми днями, только по воскресеньям бабка отпускала её в церковь, да иногда поздно вечером она доставала тетрадку, куда коряво переписывала детские рассказы Толстого, тексты из любого оказавшегося на столе учебника, что-нибудь из молитвенника, чаще всего одну вечернюю молитву: «И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире». Дети её дразнили «Шоша», – не знаю, откуда это взялось, – она обижалась. Я не дразнил, давал ей тетрадки, потом привозил из Москвы кофточки. Но позже, когда Колька оттяпал у неё квартиру и запихнул её в дом престарелых в далёкий Павлодар, я только посылал туда изредка посылки и всё собирался навестить – всего три часа лёту от Москвы, – не навестил. От неё не осталось ничего: ни её тетрадок, ни её икон. Только одна фотография: обернувшись к камере, она выжимает бельё. Пятнадцать лет она не видела ни одного родного лица, никого из нас, кого так любила и к кому обращалась в письмах: «Самые дорогие все».

Третьим претендентом был дядя Лёня, младший из дедовых детей. Антон узнал его позже других своих дядек и тёток – в тридцать восьмом году его призвали в армию, потом началась финская война (туда он попал как хороший лыжник – признался в этом единственный из всего батальона сибиряков), потом – отечественная, затем – японская, потом с Дальнего Востока его перебросили на крайний запад бороться с бендеровцами; из последней военной экспедиции он вынес два лозунга: «Хай живе пан Бендера та его жинка Параска» и «Хай живе двадцать восьма роковина жовтневой революции». Вернулся он только в сорок седьмом. Говорили: Лёня – везунчик, он был связистом, но его даже не ранили; правда, дважды контузило. Тётя Лариса считала, что это отразилось на его умственных способностях. Она имела в виду то, что он с увлечением играл со своими малолетними племянниками и племянницами в морской бой

и в карты, очень расстраивался, когда проигрывал, и поэтому часто жулил, пряча карты за голенища кирзовых сапог.

В конце войны дядя Лёня под Белой Церковью познакомился с полячкой Зосей, которой слал из Германии посылки. Тётя Лариса спрашивала, почему он ничего ни разу не прислал старикам, а если уж всё отсылал Зосичке, то чего ж к ней не едет. Он отмалчивался, но когда особенно приставала, говорил отрывисто: «Написала. Не приезжай». – «И ничего не объяснила?» – «Объяснила. Пишет: зачем приезжать».

С войны он пришёл членом партии, но об этом дома узнали только тогда, когда кто-то из его теперешних сослуживцев-железнодорожников сказал бабке, что Леонида Леонидовича недавно исключили, так как он ни разу не заплатил членские взносы. Вернулся он в медалях, только «За отвагу» было целых три. Антону больше всего нравилась медаль «За взятие Кёнигс-берга». Рассказывал он кое-что почему-то только про финскую войну. Как какие-то части прибыли укомплектованные резиновыми сапогами – а морозы стояли под сорок. Антон читал в «Пионере» рассказы, что опаснее всего были финские снайперы – «кукушки».

– Какие кукушки. Чушь. Какой дурак на дерево. Полезет. В такой мороз. Зачем.

Про эту войну дядя Лёня не говорил ни слова, а когда пробовали расспрашивать, как и что, говорил только: «Что, что. Таскал катушку». И никаких чувств не обнаруживал. Только раз Антон видел, как он разволновался. Приехавший из Саратова на золотую свадьбу стариков его старший брат Николай Леонидович, закончивший войну на Эльбе, рассказал, что у американцев вместо катушек и провода была радиосвязь. Дядя Лёня, обычно глядевший в землю, вскинул голову, что-то хотел сказать, потом снова опустил голову, на глазах показались слёзы. «Что с тобой, Лёнтя?» – поразила её тётя Лариса. «Ребят жалко», – сказал дядя Лёня, встал и вышел.

У него был блокнот, куда он на фронте списывал песни. Но после песни про синенький скромный платочек шла «Молитва митрополита Сергия, мостоблюстителя»: «Помози нам Боже, Спасителю наш. Восстани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоем победити; а им же судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления».

Всё было очень красиво: «подаждь», «венцы нетления», непонятно было только, кто такой «мостоблюститель». Антон спросил у деда, тот долго смеялся, вытирая слёзы, и позвал смеяться бородатого старика, бывшего дьякона, которого бабка кормила на кухне затирухой, но всё же объяснил и добавил, что Сергей теперь уже не местоблюститель патриаршего престола, а патриарх. Потом они долго спорили с бородатым, надо ли было восстанавливать патриаршество.

Дядя Лёня дошёл до Берлина. «На рейхстаге расписался?» – «Ребята расписались». – «А ты чего ж?» – «Места снизу на стенах. Уже не было. Говорят: ты здоровый. На плечи мне встал один. На него – другой. Тот расписался».

Вскоре он женился. Невеста была вдова – с двумя детьми. Но бабке это скорее даже нравилось: «Что ж им теперь, бедным, делать». Не нравилось ей другое – что жена сына курит и пьёт – сам он за годы службы в армии курить не научился и хмельного в рот не брал (на работе его считали баптистом: не только не пьёт, но и не матерится). «Ну что ж, можно понять, – говорила тётя Лариса. – Человек десять лет воевал. Одно место уже не выдерживает». Жена его через несколько лет уехала на заработки на Север, оставив ему детей, как выяснилось, насовсем; он нашёл вторую, которая тоже курила и пила уже по-чёрному. В пьяном виде она сильно обморозилась и умерла, от неё тоже остался ребёнок. Дядя Лёня женился снова, но и третья жена оказалась пьющей. Впрочем, каждый год исправно рожала.

Из-за всех этих матримониальных дел жил дядя всегда в каких-то хибарах, а одно время со всем выводком даже в землянке, которую сам отрыл по всем правилам (Антон, присочиняя, рассказывал своему другу Ваське Гагину, что сапёрной лопаткой) и накрыл отслужившими

срок шпалами, выделенными ему на железной дороге. Эти шпалы он сам перетаскал с путей, где их заменяли, на плече, за пять километров («на избёнку эту брёвнышки он один таскал сосновые»), был силен, в деда. «Ты бы автомобиль попросил, – жалела бабка. – Вон Гурка с вашей же дороги дрова на казённом авто привёз». «Просил. Не дают, – отрывисто говорил дядя Лёня. – Не тяжело. Пушки. Когда из грязи. Вытаскивали. Намного тяжелей». Приехавший как раз тогда дядя Коля, в войну артиллерийский капитан, посетивши его жилище, поинтересовался, почему землянка в два наката: «Артналета ждёшь, что ли?» – «Шпал столько выписали. Сказали, все надо забрать».

Дяде Лёне дедов дом, пожалуй, был нужнее всех.

3. Воспитанница института благородных девиц

Ещё на чебачинском вокзале Антон спросил у тётки Тани: отчего дед всё время пишет о каких-то наследственных вопросах? Почему он просто не завещает всё нашей бабе?

Тётя Таня объяснила: с тех пор как деду ампутировали ногу, мать подалась. Никак не могла запомнить, что деду не нужно приносить два валенка, и всякий раз принималась искать второй. Всё время говорила про отрезанную ногу, что надо её похоронить. А в последнее время повредила совсем – никого не узнаёт, ни детей, ни внуков.

– Но её «мерси боку» всегда при ней, – с непонятным раздражением сказала тётка. – Сам увидишь.

Поезд сильно опоздал, и когда Антон вошёл, обед уже был в разгаре. Дед лежал у себя – туда предполагался отдельный визит. Бабка сидела на своем плетёном диванчике а la Луи Каторз, том самом, который вывезли из Вильны, когда бежали от немцев ещё в ту германскую. Сидела необычайно прямо, как из всех женщин мира сидят только выпускницы институтов благородных девиц.

– Добрый день, bonjour, – ласково сказала бабка и царственным движением протянула руку с полуопущенной кистью – нечто подобное Антон видел у Гоголевой в роли королевы. – Как voyage? Пожалуйста, позаботьтесь о приборе гостю.

Антон сел, не сводя глаз с бабки. На столе возле неё, как и раньше, на специальных зубчатых колесиках, соединённых блестящей осью, располагался столовый прибор из девяти предметов: кроме обычных вилки и ножа – специальные для рыбы, особый нож – для фруктов, для чего-то ещё крохотный кривой ятаганчик, двузубая вилка и нечто среднее между чайной ложкой и лопаточкой, напоминающее миниатюрную совковую лопату. Владеть этими предметами Ольга Петровна пыталась приучить сначала своих детей, потом внуков, затем правнуков, однако ни с кем в том не преуспела, хотя применяла при наставленьях очень увлекательную, считалось, игру в вопросы-ответы – название, впрочем, не совсем точное, потому что всегда и спрашивала и отвечала она сама.

– В чём сходство между дыней и рыбой? Ни ту, ни другую нельзя есть с помощью ножа. Дыню – только десертной ложкой.

– А какую рыбу можно есть с ножом? Только маринованную селёдку.

– Что можно есть руками? Раков и омаров. Рябчика, куру, утку – только с использованием ножа и вилки.

Но, увы, руками мы ели не омаров, а кур, обгрызая косточки до последнего волоконецка, да ещё их потом и обсасывая. Сама бабка до этого не унижалась, что хорошо знал кот Нерон – он был мурласт, зевласт и просыпался только получить косточку от неё: там, он помнил, остаётся кое-что после вилки и ножа. Пользовалась бабка всегда всеми девятью предметами. Впрочем, и обычными она действовала с непостижимым искусством – небрежными, почти незаметными движениями намотанные на её вилку тонкие макароны напоминали обмотку трансформаторной катушки. Кроме столовоприборных, были у неё и другие вещи специального назначения – например, трубчатые щипцы с ручками из слоновой кости для растяжки бальных перчаток; в действии их Антону увидеть не пришлось.

– Кушайте. Салфетное кольцо не пусто?

Антон освободил салфетку; он хорошо помнил, как бабка осуждала дом какого-то вице-губернатора, где у горничной передник был не накрахмален, подгорничные – чуть не дети, грязнули, ножи и вилки – мельхиоровые, а салфетки – без колец, и ставили их на стол колпаками, как в ресторане. Впрочем, и гости были не лучше – затыкали салфетки за воротник. Вице-губернатор был из выскочек, из тех, что появились после самой первой революции, вообще мерзавец, без молитвы мимо не пройдёшь. Вот виленский губернатор, Николай

Алексеевич Любимов, был достойный человек, хорошего рода. Только сын у него получился неудачный, была какая-то неприятная история с гранатовым браслетом – про это даже что-то напечатал один известный писатель.

– Отведайте настойки.

Антон выпил настойки на смородиновом листе – из серебряной стопки со знакомой с детства надписью по кромке; если стопку поворачивать, можно было прочесть такой диалог: «Винушко, лейся мне в горлышко. – Хорошо, солнышко».

– С шампанского никогда не начинали, – вдруг сказала бабка. – Сперва подавали столовые вина. Разговор должен оживляться постепенно! А шампанское сразу ударяет в голову. Впрочем, теперь к этому и стремятся.

Обед был превосходный; бабка и её дочери были кулинарками высокого класса. Когда, ещё в Вильне, в конце девяностых, отец бабки Пётр Сигизмундович Налочь-Длусский-Склодовский проиграл в карты в дворянском собрании своё имение, семья переехала в город и впала в бедность, мать открыла «Семейные обеды». Обедом полагалось быть хорошими: пансионеры, молодые холостяки – адвокаты, педагоги, чиновники – это же всё были приличные люди! Дед, окончив Виленскую духовную семинарию, ожидал места. Приход можно было получить двумя путями: женитьбой на дочери священника или по его смерти. Первый вариант деда почему-то не устраивал, второго предстояло ожидать неопределённо долго; всё это время консистория, которую дед по-старинному именовал дикастерией, выплачивала кандидату содержание. Дед ждал уже два года и утомился питаться в кухмистерских («все эти трактиры, народные столовые в России всегда были скверные – даже до большевиков»); увидев в «Виленском вестнике» объявление, пришёл в тот же день. Его оставили обедать – бесплатно разумеется, все в первый раз у прабабки обедали *gratis*, не может же приличный господин покупать kota в мешке! Матери помогала семнадцатилетняя Оля, только что выпущенная из института благородных девиц и успешно овладевавшая поварским искусством. И Оля, и обеды деду настолько понравились, что он обедал целый год, пока не сделал предложение. Над бабкиными консоме, девоньяй, уткой на канапе, соусом а la Субиз в Чебагинске посмеивались, отец любил вернуть, что в «Национале» котлеты мягче («будут мягче, когда половина хлеба»), и Антон ждал, что уж в Москве... Но теперь, побывав и в других столицах, он говорил: лучше, чем у бабки, не едал нигде и никогда. От бабки он впервые услышал про пряженцы, мнишки в сметане, утрибку, пундики, кои потом нашел у Гоголя и понял, что для него они вовсе не были экзотикой: знаками его странного мира они стали только у русского читателя и сильно с годами; в веках эта необычность будет расти.

Под вторую перемену блюд бабка всегда начинала светскую беседу.

– Кажется, сегодня прекрасная погода. Передайте, пожалуйста, соль. Благодарствуйте, вы так добры.

Знаменитые вилочки так и мелькали в её пальцах; не глядя, она возвращала каждую точно на своё колесико. Протянув руку, она машинально вынула из пальцев Антона кусок хлеба и положила на мелкую тарелку, до этого непонятно пустовавшую слева: хлеб полагалось не откусывать от целого ломтя, а отламывать маленькими кусочками.

– А почему говорят, – шепнул Антон тётке Тане, – что баба наша не в себе? По-моему, как всегда.

– Подожди.

– Замечательная погода, – продолжала держать стол Ольга Петровна, – вполне пригодная для прогулки в экипаже...

В её глазах что-то прошло, и она добавила:

– Или на моторе. Солнце уже почти осеннее, можно без вуали. Если на даче – в панамской шапочке. А ты давно из Саратова? – бабка вдруг переменяла тему.

– Из Саратова? – несколько опешил Антон.

– А разве ты не живёшь со своей семьёй? Впрочем, теперь это модно.

Бабка спутала Антона с Николаем Леонидовичем, своим старшим сыном, который жил в Саратове и тоже должен был приехать. Был он девятьсот шестого года рождения.

Но беседа вернулась к темам еды и погоды, всё опять было мило и очень светски.

За чаем Антон поймал себя на том, что, твёрдо помня – торт надо есть, держа ложечку в левой руке, он совершенно забыл, в какую сторону должна глядеть ручка чашки перед чаепитием, а в какую – в его процессе, помнил только, что бабка придавала этому большое значение.

Кто-то из обедавших, размешивая сахар, звякнул ложкой; Ольга Петровна вздрогнула, как от боли. Она с беспокойством оглядела стол:

– А где третье? По-моему, мы варили... как его? этот напиток из фруктов.

– Компот! Позавчера, – замахала руками Тамара, – позавчера его варили!

– Баба, а ты не расскажешь, – решил Антон продлить светский разговор, – про бал в Зимнем дворце?

– Да. Большой бал. Их Величества... – бабка замолчала и стала промокать глаза кружевным платочком.

– Не надо, не надо, – забеспокоилась Тамара. – Она не помнит.

Но Антон помнил и сам – дословно – рассказ про Большой зимний бал во дворце, куда бабка попала как первая ученица Виленского института благородных девиц в год его окончания.

В десять часов в Николаевскую залу вошли под руку Их Величество Государь Император и Государыня Императрица Александра Фёдоровна. Государь был в мундире лейб-гвардии уланского Её Величества Государыни Императрицы полка и в Андреевской ленте через плечо. Государыня – в дивном бальном золотом туалете, отделанном панделоками из топазов. У плеч Её Величества и посреди корсажа платье украшали аграфы из крупнейших бриллиантов и жемчужин, а голову Государыни венчала диадема из того же драгоценного жемчуга и бриллиантов. Ещё Её Величество тоже имела Андреевскую ленту через плечо. Их Величества сопровождала гостившая тогда в столице испанская инфанта Евлалия. Она была в атласном дюшес платье, отделанном соболями, тоже в жемчуге и бриллиантах. Её Императорское Высочество Великая Княгиня Мария Павловна была в бледно-розовом платье, обрамленном как бы золотым шитьём, в бриллиантовых с сапфирами диадеме и ожерелье.

Обед окончился; Тамара помогла бабе встать; Ольга Петровна удивлённо на неё посмотрела, но, наклонив голову, сказала:

– Спасибо, добрая бабушка, что вы мне помогаете, вы так милы.

Мир для бабки был в густом тумане, всё сместилось и ушло – память, мысль, чувства. Незатронутым осталось одно: её дворянское воспитание.

Своим дворянством бабка не кичилась, это было в сороковые годы естественно, но его и не скрывала (что в те же сороковые было естественно гораздо менее), при случае спокойно подчёркивая социальную дистанцию – например, когда слышала, что некто, поранив руку, залепил рану пыльной паутиной из угла сарая, получил заражение крови и умер.

– Что с них возьмешь? Простонародье!

Но её жизнь от жизни этого простонародья отличалась мало или была даже тяжелее, в грязи она возилась больше, потому что не просто стирала бельё на одиннадцать человек, а находила в себе силы его ещё отбеливать и крахмалить; после этого оно целый день висело в палисаднике, полощась на ветру или колом застывая на морозе (накрахмаленное бельё на морозе не сушилось – при низкой температуре, объясняла мама-химик, крахмал превращается в сахар и оно становится липким); скатерти, полотенца, простыни, наволочки пахли ветром и яблоневым цветом или снегом и морозным солнцем; бельё такой живой свежести Антон не видел потом ни в профессорских домах в Америке, ни в пятизвёздном отеле Баден-Бадена. Полы она мыла не раз в неделю, а через день; в своей комнате не давала красить, Тамара скребла

их ножом; не существовало большего наслаждения, чем пройтись летом босиком по только что высохшему высохшему полу, особенно по тем местам, где лежали жёлтые тёплые солнечные пятна. Одежда она выхлопывала ежедневно во дворе, это надо было делать вдвоём, и бабка безжалостно отрывала всякого, кто случался дома, от его занятий; между пушечными хлопками одежды она говорила:

– Вчера! Вытряхивали! А видишь, сколько! Пыли! Теперь представь себе, что делается в городских одеялах, которые не вытряхивают годами!

Постели застилала сама – все остальные делали это неэстетично; мать из педагогических соображений заставляла Антона убирать свою постель, но бабка такое не поважала: это всё толстовство, мальчик из хорошей семьи не должен этим заниматься (Антон так и не выучился, за что потом много претерпел в пионерлагерях, на военных сборах и в семейной жизни). К внукам бабка была не так снисходительна. Мальчик ещё может позволить себе небрежность в уходе за руками. Но девушка! Мытьё несколько раз в день. И с разбавленным о'де колёном!

– А почему это касается только девушек?

Бабка удивлённо поворачивала голову – вбок и вверх:

– Потому что, когда она станет дамой, ей могут поцеловать руку.

С внуками бабка иногда беседовала специально на темы светского этикета, применяя знакомую вопросно-ответную систему.

– Может ли девушка приехать с родителями на званый обед? Только тогда, если у хозяйки или выполняющей эту роль сестры или другой родственницы амфитриона есть дочери.

– Может ли девушка снимать перчатку? Может и должна, с правой руки, в церкви. С левой – никогда, она будет смешна!

– Имела ли девушка свою визитную карточку? Не имела. Она приписывала своё имя на карточке матери. Молодой человек, понятно, обладал карточкой с раннего возраста.

С карточками вообще было сложно: не застав хозяев дома, оставляли карточку сильно загнутую с левой стороны кверху, при визите по случаю смерти или сороковин оставленную карточку полагалось загибать с правого бока вниз.

– Перед войной этот сгиб стали надрывать, – бабка возмущённо подымала голову и брови. – Но это уже декадентство.

– Баба, – спрашивал Антон студентом, – а почему во всей русской литературе ничего про это нет? Про это загибание справа, слева, вниз...

– А ты б хотел, чтобы вам это объяснял ваш босяк? – вмешивался дед, не упускавший случая вставить перо пролетарскому писателю.

Свои возраженья, где в виде примеров должны были фигурировать граф Толстой и Пушкин с его шестисотлетним дворянством, Антон проглатывал, но пытался иногда оспаривать нужность столь разветвлённого этикета. Дед это решительно отметал, подчёркивая целесообразность этикетных правил.

– Мужчина даёт даме правую руку. Вследствие этого она находится на удобнейшей стороне тротуара, не подвергаясь толчкам. На лестнице таким же образом дама тоже оказывается на предпочтительной стороне – у перил.

Бабка подхватывала тему и рассказывала, как надо ставить стекло и хрусталь на званых обедах: справа от прибора – стакан для красного вина, стакан для воды, бокал для шампанского, рюмку для мадеры, причём стаканы должны стоять рядом, бокал впереди и сбоку, а рюмка – с другого бока стаканов. Это каким-то сложным образом соотносилось с порядком подачи вин: после супа – мадера, за первым блюдом – бургонское и бордо, между холодными entrees и жарким – шато-икем и так далее. У того же виленского вице-губернатора к устрицам подавали шабли. Страшная ошибка! Устрицы запивают только шампанским, в меру охлаждённым. В меру! Сейчас почему-то думают, что оно должно быть ледяным. Это вторая страшная ошибка!

Иногда Антон спрашивал про мужской этикет и тоже узнавал много полезного: мужчина, входящий в конку, в вагон – то есть в такое место, где все в шляпах, должен приподнять свою шляпу или дотронуться до неё.

Молодой человек, явившийся с визитом, оставляет в передней кашне, пальто, зонт и входит со шляпой в руке. Если окажется, что он должен иметь руки свободными, он ставит свою шляпу на стул или на пол, но никогда на стол.

Застряли в голове и другие бабкины высказывания – видимо, из-за некоторой их неожиданности.

– Как всякий князь, он знал токарное дело.

– Как все настоящие аристократы, он любил простую пищу: щи, гречневую кашу...

В войну и после невиданными колерами на коленях, локтях, задах запестрели заплаты, к ним привыкли, на них не обращали вниманья. Замечала их, кажется, одна бабка; сама она дыры шتуковала так, что заштукоеванное место можно было разглядеть только на свет; увидев особенно яркую или грубую заплату, говорила:

– Валансьен посконью штюпают! Простонародье!

Но с этим простонародьем она общалась всего больше – главным образом из-за гаданья на картах. Гадала бабка почти каждый вечер. Два сына на войне, дочь в ссылке, зять расстрелян, другой – на фронте, племянница с дочерью под оккупацией, брат мужа в лагере – было о чём спросить у карт. Приходили погадать соседки, к чему отец относился неодобрительно. Но посмотрев фильм «В шесть часов вечера после войны», где пели «На картах о нас погадайте, бубновый король – это я», сказал: «Гадайте. Даже песня про вас есть». Соседки стали приводить своих соседок, не было ни одной, у которой всё обстояло благополучно, – или только такие и приходили?

Куда пойдёшь, что найдёшь, чем сердце успокоишь... Казённый дом, дорога, дорога, дорога...

На базаре бабка познакомилась с семьёй Попенок, которые подзадержались и на ночь глядя не могли ехать за сорок километров в свою Успенно-Юрьевку. Разумеется, пригласила их переночевать; Попенки стали останавливаться у Саввиных всегда, когда приезжали на базар. Бабка оправдывалась тем, что они дешёво продают ей гусей – по пятьдесят рублей. Правда, тётя Лариса смеясь рассказывала, что как-то случайно увидела, что таких же гусей на базаре они продавали по 45 рублей. Их лошадь, конечно, всю ночь хрупала саввинское сено, съедая пятидневную коровью норму, но об этом тоже говорили со смехом. Недели три в доме жила дочь Попенок: у бабы был рефлексор с синей лампочкой, а у девицы – какая-то опухоль; каждый вечер она этим рефлексором грела свою пышную белую грудь, которая под светом лампы делалась голубой; Антон не отрываясь глядел на эту грудь весь сеанс; девица почему-то не прогоняла его и только время от времени на него странно поглядывала.

Месяца три на бабкином сундуке жила старуха, вдова расстрелянного омского генерал-губернатора (Антон забыл только – царского или колчаковского, но твердо помнил, что выезжал губернатор в хорьковой шубе с воротником на больших бобрах), говорившая, что у неё рак и что она умрёт вот-вот, и просившая только немного подождать. Бабка потом пристроила губернаторшу в дом престарелых в Павлодар, где та почилa в возрасте ста двух лет и где её ещё застала Тамара, попавшая в этот дом после смерти деда и бабы через два десятилетия.

Из людей света, как их называла бабка, знакомых у неё было двое: англичанка Кошелева-Вильсон и племянник графа Стенбок-Фермора. Вильсон была единственная, кто вместе с бабкой пользовался всеми предметами её столового прибора; перед её визитом бабка отказывалась от своего яйца, чтобы сделать ей яичницу стрелягу-верещагу: тонкие ломтики сала зажаривались до каменной твёрдости, тресали и стреляли, у англичанки называлось: омлет с беконом. Была она немолода, но всегда ярко наругмьанена, за что местные дамы её осуждали. Она была замужем за англичанином, но когда её двадцатилетний сын утонул в Темзе, не захо-

тела видеть Лондона ни одного дня! И вернулась в Москву. Год шёл мало подходящий, тридцать седьмой, и она вскоре оказалась сначала в Карлаге, а потом в Чебачинске; жила она частными уроками. Позже она снова загремела в лагерь – по району был недобор по космополитам.

– В Лондоне жили? – рассказывал про допрос майор Берёза. – Восемнадцать лет?

– Девятнадцать.

– Очень хорошо. Ваш муж, мистер Вильсон...

– Сэр Вильсон!

– Какая разница.

– Огромная! – и головку этак вздёрнула. И отвечать не хотела, пока сэром не назвали...

Обхохочешься!

Антон очень любил слушать их разговоры.

– Всем было известно, – начинала англичанка, – что в эмиграции великий князь Дмитрий Павлович состоял на содержании у известной парижской модистки мадам Шанель – её мастерская, не помните? на улице Камбон. О, это была замечательная женщина! Знаете, что она ответила на вопрос, какие места следует душиť её знаменитыми «Шанель № 5»? «Те, куда вы хотите, чтобы вас целовали». «Антон, выйди», – сказала бабка. Антон вышел, но из-за двери всё равно было слышно, что мадам Шанель добавила: «И там тоже». «Претензия у меня к ней только одна, – продолжала миссис Вильсон, – зачем она ввела в моду накладные плечи». А из-за двери доносился уже бабкин голос: «Избалованный безнравственной матерью...» Или – возмущалась она кем-то: «И говорит: у меня кулон от Фраже. Она, видимо, хотела сказать: от Фаберже. Впрочем, для этих людей всё едино – что Фраже, что Фаберже. Мало того, что скулиста, как татарка, так еще всегда и растрепе муа!»

Вспоминая, Антон будет поражаться той горячности, с которой бабка рассказывала о таких случаях, – гораздо большей, чем когда она говорила о масштабных ужасах эпохи. Когда она сталкивалась с подобной возмутительной мелочью, её покидала вся её воспитанность. Как-то в библиотеке, куда бабка по утрам носила внучке Ире банку молока, бабка, ожидая, пока та отпустит читателя, услышала, как он сказал: «Виктор Гюго». Бабка встала, выпрямилась и, гневно бросив: «Виктор Гюго!», повернулась и вышла, не попрощавшись. «И ещё грохнула дверью», – удивлялась Ира.

Самым сильным впечатлением от Москвы, которую бабка не видела пятьдесят лет, был разговор в метро двух мужчин.

– С виду интеллигентные. Один в очках похож на провизора. Другой в шляпе, при галстукѣ. Спорили, как ехать куда-то на автомобиле, съезжать с моста и делать какой-то левый поворот. Чуть не поссорились. Разговор извозчиков!..

Поскольку было ясно, что рано или поздно все должны попасть в лагерь или ссылку, живо обсуждался вопрос, кто лучше это переносит. Племянник графа Стенбок-Фермора, оттрубивший десять лет лагеря строгого режима на Балхаше, считал: белая кость. Казалось бы, простонародью (он был второй человек, употреблявший это слово) тяжёлый труд привычней – ан нет. Месяц-другой на общих – и доходяга. А наш брат держится. Сразу можно узнать – из кадетов или флотский, да даже из правоведов. Угадывалось это, по словам Стенбока, исключительно по осанке. По его теории выходило ещё, что они и страдали меньше: богатая внутренняя жизнь, было над чем поразмышлять, что вспомнить. А мужик, рабочий? Кроме своей деревни или цеха и не видал ничего. Да даже и партиец-начальник: только-только хлебнул нормальной обеспеченной жизни – а его уже за зебры...

– Мужики вообще слабосильны, – вступала в разговор бабка. – Плохое питание, грязь, пьянство. Мой отец – потомственный дворянин, а был сильнее любого мужика, хоть физически работал только летом, в имении, да и лишь до того случая (случаем назывался роковой день, когда отец проиграл имение).

– Дед, а ты тоже из дворян? – спрашивал Антон.

– Из колокольных он дворян, – усмехалась бабка. – Из попов.

– Но зато отец деда был знаком с Игнатием Лукасевичем! – брякнул Антон. – Великим! Все развеселились. Лукасевича, изобретателя керосиновой лампы, действительно в 50-е годы прошлого века знал прадед Антона, о. Лев.

– Вот так! – смеялся отец. – Это вам не родство с Мари Склодовской-Кюри!

Мари Кюри, урождённая Склодовская, была троюродной сестрою бабки (урождённой Налочь-Длусской-Склодовской); бабка бывала в доме её родителей и даже жила там на ваканциях в одной комнате с Мари. Позже Антон пытался выспросить у бабки что-нибудь про открывательницу радия. Но та говорила только:

– Мари была странная девушка! Вышла замуж за этого старика Кюри!..

Англичанка рассказывала, какими сильными были английские джентльмены. В конторе какой-то шахты в Южной Африке всем предлагали поднять двумя пальцами небольшой золотой слиток. Поднявший получал его в подарок. Фокус был в том, что маленький на вид слиток весил двадцать фунтов. Рабочие-кайловщики, крепкие негры, пробовали – не выходило. Поднял, конечно, англичанин, мастер боксинга, настоящий джентльмен. Правда, не удержал, уронил и золота не получил. Но другие не смогли и этого.

– Дед бы поднял, – выпалил Антон. – Дед, почему ты не съездишь в Южную Африку?

Предложение всех надолго развеселило.

– Помещики были самые сильные? – интересовался Антон.

Бабка на секунду задумывалась.

– Пожалуй, попы. Посмотри на своего деда. А его братья! Да они что. Ты б видел своего прадеда, отца Льва! Богатырь! («Богатыри – не вы!» – подумал Антон). Дед привёз меня в Мураванку, их имение, в сенокос. Отец Лев – на верху стога. Видел, как вершат стога? Один вверху, а снизу подают трое-четверо. Не успел, устал – завалят, навильники у всех приличные. Но отца Льва было не завалить – хоть полдюжины под стог ставь. Ещё и покрикивает: давай-давай! После таких разговоров перед сном подходило бормотать стихи:

Села барыня в ландо
И надела ротондо.

4. Четвёртая сибирская волна

Как быстро, безо всяких телефонов, распространяются здесь слухи. Уже на второй день стали приходить знакомые. Первой нанесла визит давняя подруга матери – Нина Ивановна, она же домашний врач. Именно так она рекомендовалась, бывая проездом в Москве: «Алло, Антон! Говорит твой домашний врач». Почему – было неясно. В детстве Антон не болел ничем и никогда – ни корью или скарлатиной, ни простудой, хотя начинал бегать босиком ещё в апреле, по весенней грязи, а кончал – по осенней, октябрьской; в мае купался с Васькой Гагиным в Озере, цепляясь за ещё плавающие голубые льдины. Его двоюродные сестры и братья болели коклюшем, кашляя так, что кровью заплывали белки глаз, и свинкой – он не заразился, хотя подъедал за ними молочную манную кашу с вареньем, которую им было трудно глотать из-за распухшего горла. Даже оспа почему-то у него не прививалась; на третий раз медсестра сказала, что больше не будет на этого странного ребёнка переводить дефицитную вакцину. «У тебя надёжная примета в случае чего, – сказал как-то сосед Толя, оперативник. – Отсутствие оспины на руке, редкое в твоём поколении». – «В случае чего?» – «А в случае необходимости опознания трупа». Антон и взрослым никогда не хворал, и первая жена, часто недомогавшая, в том его упрекала: «Ты не в состоянии понять больного человека».

В Чебачьем Нина Ивановна была человек известный: боролась за мытьё рук перед едой, против антигигиенического целования икон, выступала по местному радио, чтобы дети не ели стручки акаций и заячью капусту и не сосали глину. Когда маленький соседский сын, наевшись сладких плодов белены, помер, устроила в детской консультации щит, куда дед приклеил высушенный по всем гербарным правилам и выглядевший, как живой, куст, под которым мама красивозловещим шрифтом написала чёрною тушью: «Белена – яд!!!» Две медсестры несколько дней обходили все огороды, заставляя хозяев выпалывать ядовитое растение.

Пили редкостный напиток – индийский чай со слоном, Нине Ивановне его дарили бывшие пациенты. Вспомнили её бедную дочь. После войны Нина Ивановна уехала ненадолго в Москву – что-то решать с бывшим мужем. Десятилетняя Инна занозила ногу, начался сепсис, без Нины Ивановны не достали редкий тогда пенициллин. Нина Ивановна всегда носила с собою её фотографию – в гробу. Посмотрели фотографию.

Во время войны Нина Ивановна как педиатр была прикреплена к Копай-городу: там, в трёх километрах от Чебачинска, разместили чеченцев и ингушей – спецпереселенцев (депортированными их тогда не называли).

...Холодный февральский день сорок четвёртого года. Я стою во дворе, у калитки. По улице движется нескончаемый обоз. Это – чечены. Мне мешает смотреть штaketник калитки, но я боюсь выйти на улицу, потому что про чеченов всё знаю – по колыбельной, которую мне перед сном поёт бабка: «Злой чечен ползёт на берег, точит свой кинжал». Надо мной смеются, но через несколько месяцев оказывается, что младенец был прав.

Одеты они совсем не по погоде – в какие-то лёгкие куртки с нашитыми как бы трубками, обуты в тонкие, как чулки, сапожки.

– В этих сапожках и черкесках только лезгинку танцевать, – сердито говорит подошедший сзади дед, – а не ездить в минус тридцать пять с северным ветром.

Про погоду дед знает всё – он начальник и единственный сотрудник метеопункта, который располагается у нас же во дворе; дед бродит между приборами, смотрит в небо и четыре раза в сутки передаёт сведения в область, долго крутит ручку телефона, висящего на стене в кухне.

Мне сразу становится холодно, хотя одет я в тёплую обезьянью дошку и меховую шапку, поверх которой натянут ещё башлык-будённовка, и крест-накрест обвязан шерстяной шалью.

Чеченов и ингушей выгрузили в голой степи, они нарыли себе землянок-нор – Копай-город. Рассказы Нины Ивановны о жизни в выдолбленных в мёрзлом грунте и накрытых жердями землянках, где по утрам в зыбках находили младенцев с инеем на щеках, были страшны. В первые же дни новосёлы образовали кладбище – за два-три года оно сравнялось с местным, которому было сорок лет.

Разъяснениям НКВД, что чеченцы и ингуши все поголовно сотрудничали с немцами, чебачинцы, ссыльных повидавшие, не верили и поначалу к спецпереселенцам относились сочувственно, давали лопаты, носилки, вёдра, детям – молоко. Но отношение быстро стало ухудшаться. Началось с мелкого воровства: у соседей в огороде кто-то выкопал ночью лук. Решили: чеченцы, раньше такого не бывало, а они, известно, без лука жить не могут. Чеченские нищие были странные: не просили, а угрожали: «Дай хлеб, а то бельё брошу с верёвки». У бабки на базаре отстегнули старую огромную медную английскую булавку, которую она очень дорожила – таких теперь не делают, а она скалывала ею концы пледа в мороз. «Будут они такими пустяками заниматься, – сердился дед. – Вот если б корову украли – это да». И как накликал. Вскоре поползли слухи: в Батмашке ингуши разбили стайку и угнали овец, в Успенно-Юрьевке днём обчистили квартиру – взяли, что легко было унести – даже ложки и тазы. Их ловили, но за мелкое воровство не судили. Но вот в Котуркуле свели корову, потом в Жабках – ещё одну. Лесник в Джаламбете встретил грабителей с ружьём – его застрелили из этого ружья. В том же Джаламбете увели двух коров и убили их хозяина. Страхи нарастали.

Рассказывали, что под Степняком вырезали целую семью. Воровство в Чебачинске бывало и раньше, но чеченцы показали, что такое настоящий горский разбой; по дворам поползло – «абреки», откуда-то не очень образованные чебачинские казаки знали это слово.

Самый большой конфликт с чеченцами возник года через два после войны. Чеченские парни не хотели, чтоб их девица встречалась с русским трактористом Васей, который пахал недалеко от Копай-города. Она сама бегала в поле, но чеченцы не сказали ей ни слова, а пошли напрямик к трактористу. Двухметровый богатырь Вася, про которого говорили, что кулак у него с тыкву, послал их, завязалась драка, троим он мурсалки размазал, но их было пятеро, и вскоре Вася уже лежал и охал возле гусениц. Его друзья, работавшие невдалеке, двинулись на своих машинах боевым строем, как в фильме «Трактористы», на Копай-город и сровняли с землёй две крайние землянки и землебитный домик. Чеченцы как-то быстро, без шума, собрались возле магазина, у всех на поясах кинжалы, и молча двинулись на трактора. И быть бы большой крови, но, по счастью, в магазине оказался мамин ученик Хныкин, бывший командир разведроты. Хныкин не боялся никого и ничего. Он стал перед гусеницами переднего трактора – и остановил. Потом медленно пошёл через улицу прямо на чеченцев.

– У них правая рука на кинжале, – рассказывал он маме, – а у меня – в кармане.

– А там что?

– А ничего. Но они хоть и абреки, а простоваты. Да и представить не могли, что в такую толпу идёт безоружный. Тем более в офицерском кителе.

– Что ж ты им сказал?

– Вам Казахстана мало? – говорю. – На Колыму захотели? – главное, спокойно эдак говорю, тихо, как бы сквозь зубы так. – Где старейшины? – Поговорил с двумя, молодой переводил. Те сказали что-то, каждый буквально по два слова. Все повернулись молча и ушли. Ну а я – к нашим ребятам, уговаривать. Василий помог – явился, оклемавшись. Зла на них, толкует, не держу. Любовь – дело сурьёзное. Я тоже троим сопатки их абрекские погладил, только хрустели... Добродушный он, Вася.

Говорили, что в банде Бибикова, отличавшейся особой жестокостью, состояли в основном чеченцы. Потом выяснилось, что нерусских там вообще было только двое: белорус, приехавший с Петей-партизаном и тоже партизан, и один молодой ингуш.

Про Бибикова Антон вспомнил, когда пришла его одноклассница Аля и они пили чай – она тоже принесла со слонком. Аля стала очень похожа на свою покойную мать, – особенно теперь, во столько же лет, сколько было той, когда Антон увидел её мёртвой.

...После школы прибежал Васёк Гагин: «Айда за речку! Зарезанную смотреть! Гад буду! Хрест на пузо!»

Мать Али лежала на дне телеги, её голова была страшно запрокинута, вместо горла зиял кровавый провал. Стайка ребят стояла поодаль; все молча, зачарованно глядели в телегу.

Учительница Тальникова в день зарплаты возвращалась поздно вечером в своё село. В первом перелеске дорогу её лошади – по древнему разбойничьему обычаю – перегородили несколько мужчин. Отобрали покупки, сумочку с деньгами. И уже было отпустили, но учительница вдруг узнала главаря – своего бывшего ученика: «Бибиков! И тебе не стыдно, Бибиков?» Да, это была банда Бибикова, бывшего разведчика, кавалера орденов Славы и Красной Звезды, которую вот уже полгода ловила вся местная милиция. В разведроту Бибиков был специалистом по бесшумному снятию часовых («финочкой, исключительно финочкой!»). На суде Бибиков мрачно буркнул: «Сама виновата. Кто за язык тянул?»

Дед нашёл в энциклопедии, что чеченцев – полмиллиона, и с карандашом в руках высчитал, сколько сотен эшелонов надо было оторвать от военных перевозок, чтобы их вывезти. «К вам, Леонид Львович, – говорил отец, – только одна просьба. Не делитесь, прошу вас, ни с кем результатами ваших выкладок. Ведь Шаповалов уже не работает в нашем НКВД». Отец намекал на то, что его уже вызывали в эту организацию по поводу пораженческих высказываний деда. Но материалы попали тогда в руки бывшего дедова ученика и пока что всё обошлось.

Чеченцы были последней из волн ссыльнопоселенцев, с начала тридцатых годов накапывавших на Чебачинск. Первой были кулаки из Сальских степей. Наслышанные об ужасах холодной Сибири и тайги, они после своих супесей и суглинков шалели от полуметрового казахстанского чернозёма и дармового соснового леса. Скоро все они обстроились добротными пятистенками с глухими бревенчатыми заплотами на сибирский манер, завели обширные огороды, коров, свиней и через четыре-пять лет зажили богаче местных.

– Что вы хотите, – говорил дед, – цвет крестьянства. Не могут не работать. Да как! Вон что про Кувычку рассказывают.

Старший сын старика Кувычки, рассказывал его сосед по воронежской деревне, когда, женившись, отделился, получил три лошади. Вставал затемно и пахал на Серой. Когда она к полудню уставала, впрягал в плуг Вороного, который пасся за межей. Ближе к вечеру приводили Чалого, на коем пахал дотемна. Через два года он уже считался кулаком.

– А чего же этот цвет в колхозе ни черта не делает? – подкалывал отец.

– А с какой стати? Кто такой кулак? – дед поворачивался к Антону, который всегда слушал, широко раскрыв глаза, не перебивая и не задавая вопросов, и дед любил адресоваться к нему. – Кто он такой? Работящий мужик. Крепкий. Недаром – кулак, – дед сжимал пальцы в кулак так, что белели косточки. – Непьющий. И сыновья непьющие. И жён взяли из работящих семей. А бедняк кто? Лентяй. Сам пьёт, отец пил. Бедняк – в кабак, кулак – на полосу, дотемна, до пота, да всей семьёй. Понятно, у него и коровы, и овцы, и не сивка, а полдюжины гладких коней, уже не соха, а плуг, железная борона, веялка, конные грабли. На таких деревня и стояла... А кто был в этих комбедах? Раскулачивал кто? Та же пьянь и голытьба. Придумали превосходно: имуществом раскулаченных распоряжается комбед. Не успеют телеги с ними за околицу выехать, как уже сундуки потрошат, перины тащат, самовары...

Дедова политэкономия была проста: государство грабит, присваивает всё. Неясно ему было только одно: куда оно это деваёт.

– Раньше владелец крохотной овошенной лавки кормился сам, кормил большую семью. А тут все магазины, универмаги, внешняя торговля – принадлежат государству. Огромный оборот! Где, где это всё?

В роскошную жизнь членов ЦК он не верил или не придавал ей значения.

– Сколько их? Ну даже если каждый со всеми своими дачами стоит миллион – что вряд ли, – это же мелочь.

С начала тридцатых в Чебачинск начали поступать политические. Самый первый был Борис Григорьевич Гройдо, заместитель Сталина по национальным вопросам – его имя Антон потом нашёл в красной Большой советской энциклопедии. Гройдо считал: ему очень повезло, что его сослали так рано – через пять-шесть лет так легко уже бы не отделался.

Его жена, детская писательница и педагог Лесная, придумала пионерлагерь «Артек». Лагерь построили, она написала про него книжку, туда ездили дети деятелей Коминтерна. Но в середине тридцатых кто-то вдруг решил, что «Артек» устроен по буржуазному принципу – коттеджи, белые катера, а не палатки и рюкзаки. Лесную как идеолога такой структуры выслали в Казахстан. «Артек» меж тем продолжал функционировать по буржуазному принципу, туда приезжали дети антифашистов, потом большая партия испанских детей; построили новые белые корпуса.

И тут Гройдо повезло во второй раз – его жену выслали в тот же город, где жил он, – в Чебачинск. Никто не верил, что это вышло случайно, – говорили про его старые связи с Дзержинским – Менжинским – Вышинским.

После убийства Кирова из Ленинграда поступило несколько дворян, появились Воейковы и Свечиные. Были привлечённые по Шахтинскому делу, платоновскому, делу славистов, попадались изгнанцы единичные, не групповики, – музыканты, шахматисты, художники-оформители, актёры, сценаристы, журналисты, неудачно сострившие эстрадные юмористы, стали присылать любителей рассказывать анекдоты.

С Дальнего Востока привезли корейцев. Перед войной стали поступать те, кто уже отбыл три или пять лет лагерей и получил ещё пять или десять «по рогам» – поражения в правах, ссылку. Ссылно-поселенцы с первых дней бывали буквально потрясены: они попадали в курортное место; их окружала Казахская складчатая страна: миллион гектаров леса, десять озёр, прекрасный климат. О качестве этого климата говорило то, что возле озёр расположилось несколько туберкулёзных санаториев; известный фтизиатр профессор Халло, тоже ссылный, с удивлением обнаружил, что результаты лечения туберкулёзных больных в санаториях «Боровое» и «Лесное» выше, чем на знаменитых швейцарских курортах. Правда, он считал, что в равной степени дело тут и в кумысолечении – косяки кумысных кобылиц паслись рядом. Кумыс был дешёв, продукты тоже; ссылные отъедались и поправляли здоровье.

Профессор Троицкий, ученик Семёнова-Тянь-Шанского, утверждал, что знает, как это произошло: чиновник, который составлял документ, распределявший потоки ссылных, плохо посмотрел на карту, решив, что Чебачинск – в голой степи. Но Чебачинский район был узким языком, которым горы, лес, Сибирь последний раз протягивались в Степь. Она начиналась в полутора-двух километрах, на карте неспециалисту это было не понять. А до самой Степи раскинулся райский уголок, курорт, казахская Швейцария. Когда Антон студентом попал на Рицу, то страшно удивился её славе: таких голубых горно-лесных озёр возле Чебачинска было штук пять, не меньше, только они по причине почти полного безлюдья были лучше.

Перед войной поступила латышская интеллигенция и поляки, уже в войну – немцы Поволжья. Чебачинцы верили слуху, что когда НКВД выбросил там ночью парашютистов, переодетых в фашистскую форму, местные немцы всех попрятали. Но депортированные рассказали, что не было и самого десанта. Немцы устроились лучше, чем чеченцы: им разрешили почему-то захватить кое-какие вещи (до 200 килограмм на человека), среди них были плотники, кузнецы, колбасники, портные (чеченцы не умели ничего). Много было интеллигенции, которой разрешалось преподавать (кроме общественно-политических дисциплин). Математику у Антона в классе одно время вёл доцент Ленинградского университета, литературу – доцент из Куйбышева, физкультуру – чемпион РСФСР по десятиборью среди юношей. Пре-

подавателем музыки в педучилище состоял бывший профессор Московской консерватории, в местных больницах и диспансерах работали ординаторы из Первой градской, больницы Склифосовского, ученики Спасокукоцкого и Филатова.

Но власти, видимо, считали, что Северный Казахстан интеллектуально всё ещё недоукомплектован: в Курорт Боровое, что в восемнадцати верстах от Чебачинска, в начале войны эвакуировали часть Академии наук: приехали Обручев, Зелинский.

Как-то отец читал академикам лекцию о Суворове. Антона он взял с собой – прокатиться в розвальнях на лошадке мохноногой по заснеженному лесу. За лекцию полагалось три килограмма муки. Возле маленького домика, где был академический распределитель, стояла небольшая, необычно молчаливая очередь. Отец отвёл Антона в сторону. «Видишь вон того старичка в круглых очках, с кошёлкой? – сказал он тихо. – Посмотри на него внимательно и постарайся запомнить. Это академик, великий учёный. Потом поймёшь». И назвал фамилию.

Я вытягивал шею и таращился изо всех сил. Старичок с кошёлкой и сейчас стоит у меня перед глазами. Как я благодарен за это отцу.

На первом курсе университета Антон узнал, кем был этот старичок, не спал по ночам от волнения при мыслях о ноосфере, от гордости за человеческий ум; за то, что такой человек жил в России; сочинял про этот эпизод плохие стихи: «Домишки. Очередь. Морозно. И казахстанский ветер адский. Отец сказал: “Навек запомни: вон тот с кошёлкой – Вернадский”».

Ходили разные слухи об академиках: один может висеть в воздухе, другой переплюнет любого работягу по части мата. Дед смеялся и не верил. Много позже Антон узнает, что великий буддолог академик Щербатской, умерший в Боровом, незадолго до смерти читал лекцию, где в числе прочего говорил о левитации; до августа сорок пятого в том же Боровом жил кораблестроитель академик Крылов – необыкновенный знаток русской обценной лексики (он считал, что подобные выражения у матросов английского торгового флота знамениты краткостью, но у русских моряков превосходят их выразительностью).

Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть нигде.

– Четвёртая культурная волна в Сибирь и русскую глухомань, – пересчитывал отец, загибая пальцы. – Декабристы, участники польского восстания, социал-демократы и прочие, и последняя, четвёртая – объединительная.

– Прекрасный способ повышения культуры, – иронизировал дед. – Типично наш. А я-то думаю: в чём причина высокого культурного уровня в России?

Отец и Гройдо спорили, откуда отсчитывать традицию высылки в Казахстан: с Достоевского или с Троцкого?

Из всех новых административных насельников интеллигенция, по наблюдениям Антона, ощущала себя наименее несчастной, хотя её положение было хуже, чем у кулаков, немцев или корейцев: она не знала ремёсел, земли, а служить в горисполкоме, райкоме, РОНО ссыльные права не имели. Но многие из них, как ни странно, совсем не считали свою жизнь погибшей, а скорей наоборот. Шахматист Егорычев, знаменитый в городке своим мощным тепличным и поливным огородничеством, а также как страстный книголюб, признавался Антону уже в глубокой старости – я счастлив, что меня отлучили от игры в бисер. Гройдо говорил: он рад, что порвалась цепь, сковывавшая его с этой колесницей.

Отец Антона, Пётр Иванович Стремоухов, был одним из немногих в городе интеллигентов, попавших в него по своей воле.

Его старший брат, Иван Иванович, организовал в 18-м году в подмосковном Царицыне одну из первых в России радиостанций и был её бессменным научно-техническим руководителем, главным инженером, директором и ещё кем-то. В 36-м году заместитель написал донос, что его начальник в 19-м году предоставил эфир врагу народа Троцкому. «Хотел бы я знать, – объяснял вызванный на Лубянку Иван Иванович, – каким образом я мог не дать эфир военмору

республики? Да меня и не спрашивал никто. Приехали на двух автомобилях – и всё». То ли донос был уж слишком бессмысленным, то ли времена ещё относительно мягкие, но Ивана Иваныча не посадили, а только уволили со всех постов.

Средний брат принадлежал когда-то к рабочей оппозиции, о чём честно писал во всех анкетах. В тридцать шестом его арестовали (он просидел семнадцать лет). Следующего брата уволили из института, где он преподавал, и уже дважды вызывали на Лубянку.

И тут отец сделал, как говорила мама, второй умный шаг в своей жизни (первый, понятно, был – женитьба на ней) – уехал из Москвы. Тогда говорили: НКВД найдёт везде. Отец понял: не найдёт. Не будут искать. Не смогут – слишком много дел в столице. И – исчез из поля зрения. Много раз говорил потом, что не может до сих пор взять в толк, как люди, вокруг которых уже пустота, уже замели начальников, заместителей, родственников, – почему они сидели и ждали, когда возьмут их, ждали, будучи жителями необъятной страны?..

Он завербовался на стройку социализма – возведение крупнейшего в стране мясокомбината в Семипалатинске, и не мешкая выехал туда вместе с беременной женой. Так Антон родился в Казахстане.

В 70-е годы Антон в юбилей Достоевского попал в Семипалатинск. В первый же день была экскурсия на знаменитый комбинат, где он увидел то, о чём в Чебачинске так мечтал боец скотобойни Бондаренко: убой скота электричеством. Огромных быков, получивших удар в пять тысяч вольт, подцепляли мощными крюками, и они плыли по конвейеру, где с них сразу, с шеи, начинали сдирать шкуру; обнажившиеся сине-розовые мышцы ещё трепетали и дёргались, а следующий съёмщик продолжал стягивать шкуру, как чулок, вниз; одной достоеведке стало плохо. Инженер-экскурсовод объяснил, что, конечно, можно три-четыре раза повторить электрошок, снижая напряжение последовательно до 500 вольт, тогда бык перестанет дёргаться и успокоится, именно так и поступают в Америке при работе с электрическим стулом, – но у нас более экономичная и прогрессивная технология. На фронте мясокомбината висел огромный кумачовый транспарант: «Я – реалист в высшем смысле. Ф. М. Достоевский».

Мама перевелась в местный институт, отец, хоть и окончил истфак МГУ, работал на комбинате преподавателем слесарного дела, которое знал с детства от своего отца и которому доучивал его великий мастер Иван Охлыстышев. Когда родился Антон, приехала бабка и забрала всех в Чебачинск – курортный город.

Так как историю и конституцию ссыльным преподавать не разрешалось, а отец был единственный в городе не ссыльный с высшим историческим образованием, он преподавал эти предметы во всех учебных заведениях Чебачинска – двух школах, горно-металлургическом техникуме, педучилище.

На фронт его не взяли из-за близорукости – минус семь (глаза он испортил в московском метро, где сварщики работали без щитков). Но когда немцы подходили к Москве, записался добровольцем, доехал до областного центра, где доформировывались части дивизии генерала Панфилова, и даже был зачислен на пулемётные курсы. Но на первой же медкомиссии майор медицинской службы с матерными ругательствами выгнал его из кабинета.

Вернувшись, отец отдал в фонд обороны всё, что скопил перед войной на своих трёх ставках. Дед, узнав об этом из местной газеты, такой шаг не одобрил, как и раньше – запись в добровольцы.

– Умирать за эту власть? С какой стати?

– При чём тут власть! – горячился отец. – За страну, за Россию!

– Пусть эта страна сначала выпустит своих узников. Да заодно отправит воевать столько же мордоворотов, которые их охраняют.

– Я вас считал патриотом, Леонид Львович.

Отец снова уехал в областной центр, с дедом не попрощавшись. Дед был спокоен и ровен, как всегда.

5. Клава и Валя

Увидев, как однажды вечером Антон гладит брюки, выбирает галстук, тётя Таня усмехнулась: «По старым адресам?» До этого по старым адресам он не ходил – как чувствовал: после первого же такого визита вся его размеренная провинциальная жизнь полетела в тартарары.

Валя была его второй первой любовью. Первой считалась Клава – любовь романтическая, с разорванными в мелкие клочки записками, которые полагалось составлять склеивать по ночам, с цветами, бросаемыми в окно.

Это были целые экспедиции вдвоём с верным другом Петькой Змейко (верных друзей всегда зовут Петьками). Сначала, пока ещё не стемнело, полагалось с мрачным видом сделать две-три проходки между домами Клавы и Аси (Ася была той, чьи записки склеивал Петька). Путь предстоял не близкий – между пунктами по промерке шагами считалось километра три. Антон из природной словоохотливости порывался иногда заговорить, но Петька делал знак рукой: не надо, и суровые мужчины молчали.

Проходки эти были, однако ж, не совсем лишены прагматизма: по пути присматривался палисадник с подходящими кустами сирени. Сирень годилась не всякая. Во-первых, решительно не подходила сирень из собственного сада – это пошло. Во-вторых, чужая сирень тоже нужна не первая попавшаяся, а только самого высокого качества: персидская, белая, махровая, в которой много цветков с пятью лепестками, чтобы получившая могла их отыскивать и загадывать желания. В-третьих, сирени надо было много. Требования к букету предъявлялись жёсткие: еле-еле влезать в ведро.

К полуночи экспедиция завершалась, начиналось собственно действие. Огромные букеты туго обвязывались киперной лентой. Теперь каждый предстояло – нет, не оставить где-нибудь у порога или под окошком, – его следовало забросить непосредственно в комнату, чтобы *она*, открыв глаза, увидела букет первым из предметов окружающего мира и мучилась в догадках: откуда он взялся и от кого он? Конечно, к утру он мог и подзавять – и скорее всего; недурно б его доставить в сосуде с водой, но пока это было невыполнимо (хотя такой проект и обдумывался).

С Асей дело обстояло просто: существовала большая форточка, летом всегда открытая. С Клавой – сложнее: маленькие окошки её домика форточек не имели. Приходилось заточенной железкой, которую Петька небрежно именовал фомкой (сам он к этой операции не допускался), осторожно вскрывать створку окна. Забухшее окно долго не поддавалось – и вдруг распадалось со звуком распечатываемой бутылки; в глубине комнаты что-то белело, что-то угадывалось; именно потому нельзя было, чтобы это видел Петька; сердце начинало биться страшно, сильнее, чем при воровстве чужой сирени и вскрытии самого окна. («Воображение живо рисовало ему соблазнительные картины», – определял Антон.) Взмах – и букет с влажным шорохом летел туда, где... Минута была пиитическая, но от волнения Антон никак не мог подобрать подходящих строк и приходилось довольствоваться лишь близкими по теме: «Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередой с любовью лечь к её ногам!» Антон бы стоял и стоял, стоял и глядел, но это – слабость, надо было твёрдой рукой закрыть окно.

На другой день, в школе, никакие намёки, взгляды, конечно, не допускались, даже разговаривать с девочками в первые дни, показывал всем видом Петька, не полагалось.

Антон такие отношения очень утомляли, он начинал злиться на Петьку, на себя, на Асю – не на Клаву, а именно на Асю, может, из-за её наивно-безмятежного взора. Впрочем, было и другое. Наивная Ася очень умело, воспользовавшись отъездом родителей, организовала обучение танцам. Пригласили и третьего мушкетёра – Мишку, или Мята, для него тоже нашли даму (одноклассницу Инну, и, как потом выяснилось, именно её он бы и хотел, хотя никому об этом не сказал ни слова). Под патефон разучивали танго и вальс; из вальса выучили только

«раз-два-три», кружиться научиться не успели – Антон так и не выучился никогда. Девочки трогательно показывали, куда класть вторую руку. Некстати вспоминались слова бывшего царского офицера Твердаго: «Даму надо держать за талию плоской, а не согнутой, не обнимающей ладонью! В моё время те, кто этого не соблюдал, удалялись из танцевального зала!» Недавно Антон, после диссертационного банкета в ресторанной гостинице, несколько минут простоял у входа в тамошнюю дискотеку. Неужели эти девочки, у которых, как говорил покойный Балтер, в каждом глазу по два аборта, того же возраста, что их с Петькой тогдашние подруги? «Как и все немолодые люди, – сказал внутренний голос, – он идеализировал время своей юности».

С Вале́й всё было иначе, проще. Когда на моей парте освободилось место, она, не смущаясь, попросилась у классной руководительницы: «Можно, я с Антоном сяду?» Она была старше на три года, весёлая, увидев, что у меня болтается пуговица на куртке, тут же на переменке её пришила и на мгновение архетипически прижалась, перекусывая нитку. Не отодвигалась, когда наши колени под партой оказывались слишком близко.

Однажды я ей подарил букетик сирени – совсем небольшой, она зарылась в него лицом, потом подняла голову, глаза были полужакрыты. «Пьянящий запах сирени», – сформулировал Антон поспешно.

В первые свои студенческие каникулы Антон приехал в Чебачинск победителем, студентом Московского университета – вопреки всем советам туда поступать даже не пробовать; он черпал славу полными горстями. На школьном историческом кружке сделал доклад о Геродоте, ему выдали билет почётного члена кружка – как «первому из его членов и выпускников Чебачинской средней школы, поступившему на исторический факультет Московского университета и успешно в нём обучающемуся».

Мечты осуществлялись. С раннего детства Антона восхищали дедовы карманные швейцарские часы «лонжин» с щёлкающей крышкой и календарём, которые он купил во время русско-японской войны у одного офицера; за пятьдесят лет они отстали на одну минуту. Дед обещал их подарить, если внук хорошо окончит школу. Антон окончил с золотой медалью. «В этой деревне быть первым не штука, – сказал дед. – Ты поступи в университет». Антон поступил. «Поступить – не штука, – сказал дед. – А вот дальше?» Первый семестр внук сдал на пятёрки. Дед вздохнул, отстегнул цепочку и решительным жестом протянул часы: «Владей». (Счастье было, как у Френсиса Макомбера, недолгим: через полгода Антон уронил часы на кафельный пол в Сандуновских банях, погнулась ось, и никто не брался выточить новую.)

Мечты осуществлялись. Валя была в городе, она ездила куда-то, но не поступила. Пришла на его доклад, он провожал её, она говорила: «Я всегда верила в тебя. Больше, чем во всех». Он долго целовал её, прижимая к шаткому плетню, мороз был под тридцать, он чуть не заболел, заболела она, несколько дней пролежала в постели. Он приходил, сидел; она была вся горячая. Как он жалел, что температура не у него, чтобы стало можно подумать: «Она положила свою бледную руку на его воспалённый лоб».

И только за два дня до его отъезда она стала вставать и ходить в халатике, на котором, конечно, была только одна пуговица.

Вечером, умываясь, Антон по детской привычке глянул в серебристо-зеркальный бок старинного дедова рукомойника. Губы были какие-то странные – видимо, их искажал круглый бок. Антон посмотрел в мамино зеркало. Губы были похожи на красные бабкины подушечки для иголок. Он лёг спать, присвоив себе фамилию Губастьев.

6. Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на берег?

Антон выговорил право кормить деда обедом. Уставя поднос тарелками, он прошёл в дедов покой. Дед лежал высоко на подушках.

– Как здоровье? О чём думаешь?

Это был дедов вопрос, начинать с него не стоило. Доктор Нина Ивановна пеняла: «Ты, Антон, всегда находишь темы, которые Леонида Львовича волнуют».

Дед ответил:

– Испохабили всё – начиная со Святых Апостолов и кончая бессловесными зверьми.

На одеяле лежала привезённая Антоном московская газета. В «Репертуаре театров» красным карандашом было подчёркнуто название: «Затюканный апостол», а в рубрике «Окно в природу» – «Медвежий колхоз». Чтоб переменить разговор, Антон стал пододвигать столичные лакомства. Раньше дед поесть любил, в семье остряли: готовь бабка хуже, он никогда бы на ней не женился. Но теперь дед смотрел равнодушно на осетрину с бужениной, не произнёс «подай мне тельца упитана», а сказал:

– Я уже не хочу ни есть, ни спать, ни жить. Ведь что есть жизнь? Познание Бога, людей, искусства. От богопознания я далёк так же, как восемьдесят лет назад, когда отроком поступил в семинарию. Людей – тут никто не знает ничего, двадцатый век это доказал. Искусство – я читал Чехова, Бунина, я слышал Шаляпина. Что вы можете предложить мне равноценного?

– А театр? Театр двадцатого века? – пошёл в наступление Антон, держа в резерве МХАТ, который дед любил, был на премьере «Вишнёвого сада». Но резервы вводить не пришлось – дед с порога отверг театр как таковой.

– Что театр? Площадное искусство. Подчинено зрелищности, подмосткам. Насколько Гоголь грубее в «Ревизоре», чем в «Мёртвых душах»? И даже Чехов – уж такой тонкий по сравнению со всеми драматург – насколько примитивнее в пьесах, чем в рассказах.

– Дед, но ты же не станешь отрицать кино.

– Не стану. Немое. Оно почти выбилось в высокое искусство. Но явился звук. А потом и цвет! И всё было кончено – восторжествовала площадность.

– А Эйзенштейн? – его последние фильмы были единственными, которые дед видел после двадцатых годов, сделав для них исключение. (Этому будто бы предшествовал такой разговор. Бабка просит его посетить вместе кинотеатр. Дед: «Мы же были в кинотеатре». – «Конечно, но теперь там идут звуковые фильмы!»)

– Эйзенштейн? Всё у него лучшее, кадры, которые ты сам мне показывал, как он сперва их рисовал, – от немого кино. Да что о нём говорить, – когда во всей фильме «Александр Невский» никто ни разу не перекрестился!

– Разве? Я как-то не обратил...

– Разумеется. Вы этого не замечаете. Великий князь, Святой благоверный князь Александр Невский перед битвой не кладет крестного знамения! Господи, прости, – дед перекрестился.

– Может, режиссёру запретили.

– А что ж ему в «Иване Грозном» церковную службу при коронации – всё начало фильма – не запретили? Нет, тут другое: там ему самому, вашему великому режиссёру, это и в голову не пришло.

Антон хотел сказать, что с середины и в конце войны к этому отношению было уже другое, но дед по пятилеткам не мерил, для него все годы после семнадцатого были одноцветным советским временем, оттенки его не занимали.

«Как и все люди прошлого века...» – начинал формулировать Антон. Да, прошлого, прошлого века.

Он отправлялся бродить по городу. Разговоры с дедом почему-то чаще всего наталкивали на тему, которую Антон озаглавливал «О тщете исторической науки». Что может твоя наука, историк Стремоухов? Пугачёвский бунт мы представляем по «Капитанской дочке». Ты занимался Пугачёвым как историк. Много изменили в твоём ощущении эпохи её документы? Будь откровенен. И пояись ещё куча исследований – уточняющих, опровергающих, – пугачёвщина в сознании нации навсегда останется такою, какой изображена в этой повестушке. А война 1812 года? Всегда и во веки веков она пребудет той, которая разворачивается на страницах «Войны и мира», несмотря на десятки фактических ошибок романа. И сколько здесь от случая. Допиши Пушкин «Арапа», мы бы и Петра знали по нему. (Впрочем, даже и так знаем.) Почему? Историческое бытие человека – жизнь во всём её охвате; историческая же наука давно разбилась на истории царствований, формаций, революций, философских учений, историю материальной культуры. Ни в одном научном сочинении человек не дан в скрещении всего этого – а ведь именно в таком перекрестье он пребывает в каждый момент своего существования. И сквозь этот прицел его видит только писатель.

Так было всегда, когда Антон уходил от деда, – диалог с ним продолжался, и Антон не глядел по сторонам.

Но город постепенно завладевал им.

Русская провинция! Как периферия литературная – иллюстрированный журнал, газета, малая пресса всегда была холодильником жанров, не сохранившихся в большой литературе, – романтической повести, физиологического очерка, мелодрамы, – так периферия географическая, русская провинция сохранила семейное чтение вслух, лоскутные одеяла, рукописные альбомы со стихами от Марлинского до Мережковского, письма на десяти страницах, обеды под липами, старинные романсы, фикусы в кадках, вышивки гладью, фотографии в рамках и застольное пенье хором.

Область русского поселения – цепочка казачьих станиц, укреплений, выселков, пикетов – шла по всей северной, кромковой части казахской степи от Иртыша до Урала, от Омска до Оренбурга: Кольцовская, Некрасово, Суриковская, Гаршино. Но Омское переселенческое управление циркулярно распорядилось: новые посёлки именовать в честь героев русской истории. Появились станицы Суворовская, Кутузовская, Кузьма-Крюково (в первую германскую). Перед отечественной войной административно войдя в Казахстан, Чебачинск остался русской, казачьей сибирской провинцией. Когда местная газета «Социалистический труд», выходившая раз в неделю в формате развёрнутой школьной тетради, в передовице упомянула о переписи населения 1939 года, по которой в городе оказалось 8 % казахов, то редактора Улыбченко за политическую близорукость в понимании задач национальной политики перевели в корректоры (на этой должности, сильно потеряв в зарплате, он и продолжал почти единолично до самой войны делать газету). Местные жители восприняли это как наказание за очковтирательство: и такого процента в городе никто не наблюдал, казахов с их верблюдами и низкорослыми лошадами видели только на базаре да – в кителях-сталинках – в кабинетах исполкома (в райкоме партии были уже русские). Казахские дома стояли только на нечётном порядке крайней улицы, глядящей в Степь. Постоянного названия она не имела: таблички «Улица Амангельды» то вешали, то снимали – в зависимости от того, кем считался Амангельды Иманов. Если по радио передавали песню: «Запевайте, горы Ала-Тау, и снега, и льды. Добывать идём в бою мы славу, как Амангельды», – это означало, что он герой освободительной борьбы, и таблички висели, но когда её передавать переставали, значит, он опять становился буржуазным националистом, и таблички снимали.

Село Чебачье, село казачье, в городское звание возвели ещё до войны, но только теперь поселение стало этому званию соответствовать: из центра исчезли огороды, появились запоздалые хрущёвские пятиэтажки. Тогда, после войны, двухэтажной была только школа, построенная ещё купцом Сапоговым, да несколько домов на станции. Они считались достоприме-

чательностью; объясняя дорогу, махали рукою вдаль и вверх: там, за высокими домами. Все остальные были не дома – избы. Полвека для них не возраст, а если изба ставлена на фундаменте – вообще детство. Рубили их из сибирской корабельной сосны (её так здесь не называли, а: лес-бревенчак, избыной).

Лес заготавливали зимою, в апреле ставился сруб, в котором точно пригнанные брёвна медленно и равномерно высыхали, их не вело и не кособочило. Угол всегда рубили в обло с остатком – в лапу считалось недолговечно. Железная крыша роскошь, крыли тёсом. Антон застал ещё пилку досок вручную. Бревно клалось на огромные, выше человеческого роста козлы, пилили особой тяжелой широкой и длинной пилой, один пильщик стоял наверху, другой – внизу. И там и там работа была адова. Кровля делалась безгвоздой – доски упирались в долблённые полубрёвна-желоба и пригнетались тяжёлым бревном-охлупнем. К избе примыкал высокий полубревенчатый или даже из целикового кругляка заплот (жердяных не ставили) с глухими воротами из досок в ёлочку и с двускатным козырьком.

С трудом узнавались места – по тополям, которые школа высаживала на воскресниках. Саженьцы обгрызали козы, ломали коровы, но мы сажали их снова, они опять гибли, мы сажали опять и опять, и козы сдавались, и уже не верилось, что те слабые прутики стали могучими деревьями, что эти могучие деревья были теми слабыми прутиками.

Здесь стояла хибарка Усти, вросшая в землю, с подпертой колыями стеной. Бедных было много – семьи без вести пропавших и не получавших ни аттестата, ни пособия, многодетные ссыльные немцы. На медосмотре врач, осмотрев Антонова одноклассника Ленау, по которому можно было изучать основные кости человеческого скелета, спросил: «Питание дома – только картошка?» Но Устя была самая бедная («наготствует», говорил дед). Работала она в колхозе, на трудодни не давали почти ничего. Её сын Шурка школу посещал только до морозов – каждый год всё тот же второй класс. Ходил он с большой торбой из серого грубого холста, за что над ним смеялись (много позже точно такую торбу Антон видел в нью-йоркском универмаге, стоила она двадцать долларов, и холст был гораздо хуже). Мать Антона отдала им детские валенки, мало ношенные, но Устя, чтоб не есть одну картошку, променяла их на капусту.

На месте домишки Усти стояла панельная пятиэтажка. Когда я уходил из переулочка, пятиэтажка расплылась и растаяла; её место опять и навсегда заняла похилившаяся хибарка Усти.

Антон делал крюк к Набережной, где прожил первые шестнадцать лет своей жизни. Улица весной и осенью была грязновата. У всех была мечта: резиновые сапоги. Рассказывали, что у Лёньки-станциря были такие сапоги, будто как бы зеленоватые, литые, но в глаза их никто не видел. Там, где было повыше, на лужайках перед домами рано вылезала чистая шелковистая травка-конотопка, на ней лежали по выходным и взрослые, и даже белые рубахи не зеленились. Автомобили не проезжали, подводы – редко, чаще всего – казахов. Весной подле каждой степной низкорослой кобылки бежал длинноногий жеребёнок, а то и второй – уже стригунок, его брали, чтоб не дичал, привыкал, заодно и проминался.

А тут был пустырь, где часами бродили, отыскивая всякие *кидыши*, но прежде всего *стеколки*, *битушки* – осколки посуды и, если повезёт, – золочёную ручку чашки или краешек тарелки с цветным ободком. Как скуден был вещный мир их детства. Кукла – одна, две – уже редкость. Ходила легенда про куклу сестры того же Лёньки-станциря, с закрывающимися глазами и говорящую «мама», – этому не очень верили. Дома можно было сказать: пойду к машине, и все знали, что к Кольке, потому что только у него был игрушечный грузовичок, как все любили эту деревянную машинку.

Под косогором текла речка, без названия: просто Речка. Она была мелкая: воробычке по... чке, воробью по яицы, но зато идеально подходила для ловли бреднем: за час набраживали полный кошель. Купаться можно было только у плотины, на Берёзке, где глубенело сразу; над водой там нависал мощный берёзовый пенёк, первое острое сожаленье о безвозвратном прошлом: какие счастливицы были те, кто застал саму берёзу, каково с неё нырялось! Как она

росла? Вверх? Наклонно? Хотелось, чтоб наклонно, нависно. Над водой деревья всегда так растут. Грустные ивы склонились к пруду. Что ты, ива, над водами. Конечно, берёза нависала! И достигала середины Речки, и, прыгнув оттуда, *они* свободно доныривали до того берега. И у какого мерзавца поднялась на неё рука?.. Вода у берега, на мелководье, тёплая, хорошая, называлась керенская, на середине, в омуте, холодная – колхозная. Что такое керенская, никто не знал, но почему колхозная – мы понимали очень хорошо. К середине лета с краю появлялась первая зазелень, к концу лета протягивалась и к середине; Корма, приходя купаться, заталкивал в воду малышню её разгонять.

Не было погожего летнего дня, чтоб на Берёзке не купались Васька Гагин, Юрка Бутаков, Кемпель, Лёка Ишкинов; из воды не вылезали часами. Но Антон иногда, наскоро окунувшись, убегал навестить Вальку Шелепова, который выше по речке, где уже не было огородов, пас телёнка. Пас ежегодно, ежедневно, все три месяца летних каникул. Только одно лето оказалось свободным: очередной телёнок обожрался белены и сдох. Васька Гагин на следующее лето предлагал ситуацию повторить и обещал найти самой нежной, вкусной и верной белены. (Сам Васька, когда на него оставляли годовалую Катьку, немедленно поил её размешанным в молоке молодым маком, и девка спала как мёртвая, к удивлению матери, до вечера.) Но Валька боялся: отец сказал, что убьёт, если он и теперь не уследит. И Валька следил, и на речку только глядел сверху. Большого мученья Антон, полоскавшийся в воде, как утка, целыми днями, представить себе не мог, поэтому и сидел с бедным Валькой на косогоре, а когда особенно зноило, в душном коноплянике – единственном укрытии от солнца: берега были бестенные, хотя, судя по пням, деревья тут росли, но какие-то вредители их вырубали. Спусти много лет, когда Антон был на конгрессе по истории бывшего Советского Союза в Амстердаме, во всех кафе его два дня преследовал сладковатый запах, мучительно что-то напоминавший. На третий, когда ему сказали, что тут легализовано курение марихуаны, он вспомнил: то был запах разогретого солнцем конопляника над Речкой. От запаха кружилась голова. Старший брат Вальки Генша, побывший тут недолго, сказал, что надо как-нибудь затащить сюда Люську – полчаса посидит, сама даст. Ближе к воде рос какой-то особенно влипчивый репейник – от рубашки не отодрать, а когда его тебе закатают в волосы – только выстричь. На пролысинах конопляника росли калачики – маленькие сладковатые плоды какого-то круглолистого растения – потом Антон никак не мог его ни найти, ни хотя бы узнать, как оно называется. Вид не мог внезапно исчезнуть из целой местности – но он исчез. Сразу же за Речкой во множестве росла полынь – разных видов. Дома у Антона веником из одной полыни подметали сени, из другой – комнаты, третья просто висела под иконами и пахла. На берегу можно было набрать *сосовой* глины – серой, маслянистой, вкусной. Ели, запивая водой из речки. Никаких неприятностей от этого не происходило.

Всё остальное время Антон что-нибудь рассказывал: читать Вальке было запрещено, так как телёнок погиб из-за «Робинзона Крузо». Сначала Антон дорассказал про недочитанного Робинзона, потом на основе этого сюжета стал излагать придуманные им самим приключения мальчишек, оказавшихся на необитаемых островах на Байкале, Онежском и Ладожском озёрах, в Аральском море и Северном Ледовитом океане. Называлось: Сказка. Сказка была с продолженьями, которые Антон рассказывал Вальке уже осенью, на их сеновале, а зимой – в избе. Антон входил, Валька уже ждал.

– Или, – возглашал Антон, – у броненосцев на рейде...

– Ступлены острые кили? – должен был отвечать-спрашивать друг. Паролей было несколько.

– Мир уснул, – говорил в следующий раз Антон, – но дух живой...

– Движет небом и землёй, – продолжал обученный Валька.

– Ты можешь ли Левиафана удою вытащить на брег? – Антон вворачивал и что-нибудь новенькое.

– Левиафана? Запросто, – отвечал находчивый Валька. – А кто это такой?

Залезали на печь, под мягкий волчий тулуп, начиналось продолжение Сказки. Герой вырастал, с острова съезжал, женился, у него рождался сын. Он также довольно рано попадал на необитаемый остров, где проводил, конечно, не двадцать восемь лет, как Робинзон, но тоже значительную часть жизни, пока не вырастал и становился неинтересен.

Пройдя берегом плотины, Антон по тропке стал подыматься вверх. Как всегда, когда приходилось идти в гору, подмывало на полубег – шагом медленно и скучно. Навстречу шла пожилая женщина. «Скажите, который час?» Антон сначала не понял, что в её голосе странно, но потом увидел: на глазах слёзы. Она без всяких предисловий, не стыдясь, заговорила:

– Издалека гляжу – ну точно брат мой Ваня. Он на фронте погиб. Тоже высокий. Такие ходят – переваливаются. А он в гору, вот как вы, всегда побежкой, быстро. Увидела – ну точно он, не сдержалась, видите, плачу.

Антон опять спустился к Речке. За тридцать лет она сильно затиневела, но перед плотинной зеркало было чистое, как раньше. В сливе по колено в воде копошился мужик с опухшим лицом, подставляя ладонь под струйки, бывшие из тела плотины, – видимо, изучал водоклёв.

– Не узнаёшь, москвич?

– А, Фёдор! Богатым быть.

– И так уж богаче некуда, опохмелиться не на... я. Как в анекдоте. Подходит Пушкин к магазину...

Русская провинция. Что может быть тупее её анекдотов про Пушкина, про Крылова, про композиторов: поел Мясковского, запил Чайковским, сел, образовалась Могучая кучка, достал Листа...

На бровке речного оврага стояла электростанция, построенная на месте старого движка. Движок сгорел. Работал он на мазуте, годовой запас которого хранился тут же и которым давно до маслянистой черноты пропитались обшитые фанерой бревенчатые стены. Пламя было до неба, собралась толпа, но тушить такое своими силами никому и в голову не приходило. Когда огонь слегка поутих, приехали с песком и огнетушителями пожарные – на быках. Пожаров было много. «Надо же, – говорил тамбовец Егорычев, – Казахстан, не тесно, а полыхает – как в центральной России». Горели дома, сарай, стога сена, школа, пекарня, детприёмник. Но этот пожар был самый знаменитый.

За плотиной стояли пятистенки и большие крестовые избы – дома высланных раскулаченных. В Чебачинск слали кулаков с Украины, Рязанщины, Орловщины, чебачинских высылали дальше в Сибирь, сибирских – ещё дальше на восток. Хотелось верить, что придумал такое кто-то разумный, если можно говорить о разумности в этом безумии: с Украины прямо до Находки они б не доехали.

Дома эти ещё в тридцатые годы получили комбедовцы. Так как дома были просторные, то когда начала работать горсоветская комиссия по устройству эвакуированных, она почти в каждом находила излишки и подселяла приезжих; получился целый околоток, который так и именовали: у вакуированных. Подселённых не очень любили, называли: дворянки-водворянки. Эвакуированным, как и беженцам в первую германскую, давали какую-то мануфактуру, продукты; местные возмущались.

– И чего? – говорила мама, у которой Антон потом расспрашивал про войну. – Ведь это было только справедливо. У местных – огород, картошка, корова. А у этих, как и у ссыльных, – ничего.

– А почему они не заводили огороды? Ведь землю давали.

– Сколько угодно! В степи каждый желающий мог взять выделенную норму – 15 соток. Да и больше, никто не проверял. Но – не брали. Эвакуированные считали, что не сегодня-завтра освободят Ленинград, возьмут Харьков, Киев, и они вернутся. («Совсем как русская эмиграция, – думал Антон. – И города те же».) Да и не желали они в земле копать. Из ссыльных? Ну, дворяне, кто в детстве жил в имениях. Из интеллигенции – почти никто. Наша тех-

никумовская литераторша Валентина Дмитриевна – ты её помнишь? – сначала жила в Кокчетаве. Недалеко от неё поселилась, когда отбывала ссылку, Анастасия Ивановна Цветаева. Так та, ничего сначала не умея, завела потом огород, выращивала картофель, овощи. И жила нормально. Но таких было мало. Голодали, продавали последнее, но обрабатывать землю не хотели. Дед над ними посмеивался: «Где ж власть земли? А народные истоки – самое время к ним припасть, заодно и себя прокормишь...»

Такие высказывания деда помнил и я, здесь он совпадал с местными, которые презирали приезжих за неумелость, нежеланье копаться в навозе. Уважали шахматиста Егорычева, построившего теплицу и жившего безбедно; власти поглядывали на неё косо, но найти пункт, по которому её можно было запретить, не могли.

Про эвакуированных рассказывали много чего. Одна женщина приехала только с небольшим баулом, да и в том половину места занимали две толстые книги: итальянский словарь и другая совсем огромная, иностранная, с божественными картинками. Женщина ничего не делает, только читает с утра до ночи эту книгу, иногда поглядывая в первую. На вопрос хозяйки ответила, что её цель – чтобы великий поэт заговорил по-русски.

У другой был младенец четырех лет, который срывал с себя всякую одежду, рыдал и бился, если пробовали что-нибудь надеть, и ходил голый до октября, пока его не прекращали выпускать на улицу. Но как-то он всё же улизнул и полдня где-то бегал, заболел воспалением лёгких и помер.

Третья пишет письма, сворачивает в треугольники и складывает стопкой. Все – её мужу. А мальчишка хозяйки обнаружил, что под стопкой лежит на этого мужа похоронка, пришла год назад.

А ещё одна привезла с собою петуха и курицу и скармливала им получаемое по карточкам пшено. Когда пшено давать перестали, она решила птиц продать, но запросила такие деньги, за которые можно было купить целый курятник, – куры, дескать, орловской породы, хотя все знают, что такой породы бывают только лошади. Но дед, обзвав всех темнотой, на последние деньги купил этих курей. Петух оказался с гуся и впоследствии совершил много подвигов: выклевал глаз у уличного разбойного пса Гитлера, запретил коту Нерону сидеть на заборе вблизи курятника, сбив его своим мощным крылом, и – не все верили – вступил в успешный бой с ястребом, который пытался покуситься на цыплят подруги из его гарема.

К маминой лабораторной уборщице Фросе – у неё была одна комната, но очень большая – подселили семью из Киева: муж, жена, ребёнок. Фрося уступила им свою двуспальную кровать, сама стала жить с дочкой в кухне и спать на печке. Вскоре Фрося стала замечать, что у неё как-то быстро стала убывать картошка в подполе. «Берём вроде немного, а за две недели целый угол съели», – недоумевала она. Кроме жилички – некому. Фрося ей так в лицо и сказала. А та: «Ну и что, если взяли. Надо делиться. Война!» Но у Фроси картошка являлась главным продуктом питания, надо было дотянуть её до лета, и делиться она не собиралась.

– Как-то в воскресенье, – рассказывала мама, – когда жена должна была вот-вот вернуться с базара, а муж спал, Фрося взяла и прилегла к нему под бок. И лежит себе тихонечко. Жена приходит – скандал! А Фрося ей: «Ну и что! Надо делиться! Война! Мой на фронте – мне тоже мужика надо!» Жильцы немедленно съехали. А бывало и наоборот. Другую семью – он был мой студент, фронтовик, хромым, Хныкин – поставили к одной старушке, вроде порядочной, присматривала даже за ребёнком. Семья жила неплохо – родители откуда-то с Урала что-то присылали. Старуха жила в кухне, у жильцов в комнате была своя печь. Ребёнок у них был какой-то анемичный, все время мёрз, Хныкин денег на дрова не жалел. Но он заметил, что его поленица уменьшается, а её стоит. И придумал вот что. Мы как раз изучали взрывчатые вещества. Одно из очень сильных – красный фосфор, если его смешать с бертолетовой солью. Он высверлил полено и туда этой смеси и напихал – украл у меня в лаборатории, напросился помогать ставить опыт и стащил. А когда она краденными поленьями печь-то затопила, у неё

и рвануло – полпечки разворотило. Она к Хныкину, в ужасе. А он ей: «Воровать не надо!» И рассказал. «Это могло меня убить. Я заявлю в милицию». – «Заявляйте. Я им расскажу, почему рвануло». Ну, печь он потом заделал – мастер был на все руки.

Рядом с моей лабораторией жила прачка, Федора Ивановна. Бедная, двое детей, муж на фронте. Кроме своей работы, брала ещё из госпиталя бельё – в кровавой коросте, в рвоте и вообще Бог знает в чём... Отмачивала его с золой в железной бочке – ей дали такую бочку, называли – зольник. Потом, до работы, кипятила в ней же во дворе на костре. К вечеру была еле живая. Рассказывала, как в НЭП брала бельё, потерявшее белизну, и отмачивала в кислом молоке (его было – залейся): через два дня – как новенькое. Жила огородом. Но копать-полоть было некогда. И когда к ней вселили семью, и те научились копать, сажать, – большая была помощь.

Я хорошо помнил Федору – крупную тётку с тяжёлыми, распухшими красными руками; у бабки такие руки были только после двухдневной стирки раз в две недели, у Федоры – всегда.

По Набережной в распутицу было ни пройти ни проехать. Но зато летом проезжая её часть покрывалась подушкой мягкой, как пух, пыли. Слабый дождик пробуровливал в ней лишь частые, как в дуршлаге, дырочки. После острокаменной дороги с Сопки или надречных склонов с жёстким слепокосным пырейным остьём, колючим молочаем или целых плантаций крапивы (клич звучал: «По крапиве прямиком так и дуем босиком», но даже возвращаться по уже слегка протолоченной тропке было больно) это был подарок сбитым и зажаленным босым ногам. Они тонули в пыли – тёплой серой или горячей чёрной – по щиколку, наслаждением было медленно брести, взрывая тут же опадающие крохотные воронки-бурунчики. Не хуже и бежалось – вздымалось сразу целое пыльное облако; называлось – «айда пылить». Ну а если проезжала одна из двух чебачинских полуторок, столб пыли подымался до крыш, и, пока не осел, в него требовалось успеть заскочить; Васюку за такое развлечение дядька протягивал костылём.

В этой пыли не жили куры и трепыхались воробьи. Воробьёв не любили – они склёвывали вишню, выклёвывали подсолнухи, не боясь, как прочие нормальные птицы, огородных пугал. Вызорить воробьиное гнездо не считалось грехом. Когда они раз в несколько лет собирались тучами на свои воробьиные базары (отец говорил: партсъезды), для огородников Набережной это была катастрофа.

– Ну хорошо, птичьи базары где-нибудь на Новой Земле, они там и гнездятся коллективно. Но тут? – поражался дед.

Воробьёв собиралось столько, что наверняка они слетались и из Батмашки, и из Котуркуля, с Карьера, может, даже из Успенно-Юрьевки – кто их предупредил, что в этом месте, в этот день и час? Кто объяснил, как для жизни вида важен такой межродственный обмен? И дед в сотый раз застывал с разведёнными руками перед божественным таинством целесообразности Природы.

Под нелюбовь к воробьям чебачинцы подводили историческую базу. Когда Христа распинали, римские воины рассыпали гвозди. Воробей подпрыгивал, подавал их палачам и чирикал: «Жив! Жив!» И Спаситель сказал ему: «Всю жизнь тебя будут гонять и будешь подпрыгивать». Легенда хороша, говорил дед, но несколько портит её то, что воробей отнюдь не единственная прыгающая птица – так передвигаются и снегيري, и синицы, и все, у кого вместо двух как бы на шарнире берцовых костей – одна, отчего они и не могут ходить.

Апокрифы вообще процветали. Свинья закопала Христа в сено, а лошадь сено съела, его нашли, и он сказал свинье: ты всегда будешь сыта и жирна. И лошади: а ты станешь всю жизнь надрываться, будешь голодна и худая. Апокриф возник явно в среде тощей российской однолошадности.

Последним в переулке был дом Кемпелей-колбасников: старый Кемпель в Энгельсе работал на мясокомбинате. Был он и слесарь, и кузнец, и водопроводчик, сыновья его тоже умели

всё. В трудармию, где немцы гибли тысячами, Кемпеля не взяли как слишком старого, детей – как слишком молодых, семья выжила, обстроилась, сыновья после войны переженились – на своих. В колхозе «Двенадцатая годовщина Октября» старик купил пианино, когда-то реквизированное и лет пятнадцать стоявшее в ленинском уголке без употребления; профессор консерватории Серов его настроил; из окон дома колбасников по вечерам слышался Шуберт. Пел старший сын Ганс, механик на пармелънице, аккомпанировала его сестра Ирма, повариха. На работе и во дворе он всегда был весьма лохмат. Но когда появлялся на крыльце с идеально гладкими волосами, все знали: скоро из окон польётся про «Die schöne Müllerin»¹, хотя ниточно-ровный пробор будут лицезреть одни домашние. Любил Кемпель-сын и русские песни, пел знаменитую кольцовскую «Ты душа моя, красна девица» в своём переводе, где «красна девица» превращалась в «красную мадемуазель»:

O, du meine Seele
Rote Mademuaselle!

Антону вместо этой мадемуазели сильно хотелось вставить: Lumpenmamselle². Но голос был хорош; когда через много лет Антон услышал Фишера Дискау, а позже – Германа Прая, он почувствовал знакомое – так Шуберта умеют петь только немцы. Теперь в доме жили внуки Кемпеля, из окон доносились «Битлз».

Переулок выводил к Ленинской, бывшей Дворянской, к центру. На углу стоял городской кинотеатр имени Сакко и Ванцетти. Был ещё железнодорожный – имени Клары Цеткин. Говорили: пойдём в Кларку, пойдём к Ссакам. Ссаки располагались в длинном приземистом здании, но с высокими потолками внутри – бывшем оптовом амбарескладе купца Сапогова.

Кинотеатр был знаменит тем, что из него трудно было выйти. Огромные двустворчатые двери в торце заколотили – там висел экран, выход сделали через узкую боковую дверь, раньше через неё входили-выходили грузчики и конторщики Сапогова. Рассчитанная на тридцать человек, она не могла быстро выпустить пятьсот. Народ давился, Антона раз сильно поприжали, мама перестала пускать его одного. Но шла замечательная кинокартина «Трактористы», все друзья распевали: «Здравствуй, милая моя, я тебя дождался», Антон упрашивал пустить. Ходатаем выступил Василий Илларионович, заявивший, что не сходя с места сей секунд скажет Антону точно, когда скоро конец фильма.

– Но вы же, Вася, кажется, не смотрели этот фильм? – осторожно удивилась мама.

– А зачем смотреть? Как пойдут строем трактора и трактористы запоют что-нибудь хором, шапку в охапку – и на выход.

Антон вернулся невредимым. Но мама всё же поинтересовалась:

– Шли строем трактора? Не шли? А как же ты? – мама ещё раз обеспокоенно оглядела Антона.

– Не трактора, а танки. Тоже строем, во весь экран. Я сразу и догадался. И все песню пели: «Сверкая блеском стали, когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин».

В Ссаках же смотрели и «Тарзана», а по второму и третьему разу бегали в Кларку. Преподаватель английского Атист Крышевич, бывший дипломат, попавший в Чебачинск после добровольного присоединения Латвии, ещё до войны читал в лондонской «Таймс», что крик Тарзана в джунглях – это наложенные друг на друга записи воя гиены, криков бабуинов и птицы марабу. Атисту мы верили – после того, как он сказал, что «На Дерибасовской открылась пивная» поётся на мотив популярного во всей Латинской Америке аргентинского танго «Эль чокло», которое он там везде слышал. Но дело было в том, что Борька Корма без помощи бабу-

¹ Прекрасная мельничиха (нем.)

² Шлюха (нем.)

инов воспроизводил этот крик со всеми его дикими руладами с абсолютной точностью. Потом Антон видел другие фильмы на этот сюжет. Старый ему нравился больше. То, что делают новые Тарзаны, овладевшие современным оружием, в боевиках делает любой Сталлоне. А в «Тарзане» с Вейсмюллером была прекрасная ностальгическая идея: сила и ловкость сына природы побеждают технику, слоны оказываются сильнее машин, а тот, кто разговаривает с животными на их языке, – непобедим.

Городской кинотеатр – он же клуб и городской театр – был известен ещё историей с занавесом. Его подарила Чебачинску певица Куляш Байсеитова, вернувшись с прославившей её первой декады казахского искусства в 36-м году в Москве (Антону очень нравилась её знаменитая песня «Гакку» из оперы «Кыз-Жибек»: «Га-ку, га-ку, га-га-га-гага!»), той самой, на которой всплыл и Джамбул. Занавес был огромный, вишнёвого рытого бархата. И вдруг он пропал. Сапоговские пудовые замки на мощных пробоях железных дверей оказались целы: кто-то ухитрился снять и унести большой тяжёлый занавес после спектакля Омского драматического театра, пока актёры разгримировывались в десяти метрах, за сценой. Недели через две егерь Оглотков, мотаясь по Степи по своим егерским делам, заехал в цыганский табор, недавно раскинутый возле областного центра, в ста верстах от Чебачинска. Цыгане поразили Оглоткова роскошными бархатными шароварами бордового цвета, которые носили все мужчины табора; зрелище – умереть не встать. Табор оказался тот самый, что стоял недавно под Чебачинском, у Каменухи. Нарядили следствие, цыгане божились и целовали кресты, что купили материю у других цыган, которые теперь гуляют в Степи далеко-далеко. Фамилия у всех в таборе была одна: Нелюдских.

7. Кавалер Большой золотой медали Великого Князя

Дальше дорога лежала мимо школы – тоже бывшего дома Сапогова. Нижний этаж был когда-то лабазом с полуметровыми кирпичными стенами, второй – из сосны, такие толстые брёвна Антон видел ещё только раз – на избе Емельяна Пугачёва в Уральске, где он докладывал местным краоведам об уральских реалиях «Капитанской дочери».

В школу Антон пошёл в первый послевоенный год – во второй класс. Получилось это так.

После обеда, когда дед отдыхал, Антон забирался к нему на широкий топчан. Над топчаном висела географическая карта. Между делом, незаметно дед выучил его по этой карте читать не по слогам, а по какой-то его особой методике, сразу целыми словами.

Как-то зимою дед лежал на своём топчане, укрывшись овчинным тулупом. Мне больше нравился мягкий волчий, как на лежанке русской печи у Вальки Шелепова, и однажды отец Карбека, лесник, предлагал такой же прекрасный тулуп, но дед отговорил всех: овчинный предпочтительней, потому что овечья шерсть обладает целительными свойствами; потом я прочитал, что она ещё и отгоняет скорпионов, но и это не помогло – волчий всё равно казался в сто раз лучше. Дед лежал, а я сидел рядом на особенном стульце и читал ему «Правду». Газету эту дед в руки брать не любил, и когда говорил: «Почитай, о чём из столиц исповещают поданных», я уже знал, что читать надо только заголовки, делая после каждого паузу, во время которой дед говорил: «Всё ясно» или «Потери несут, конечно, только немцы», или, чаще всего: «Валяй дальше».

Отец вышел на кухню и, пока искал что-то в шкафчике, эту политпятиминутку услышал.

– И давно ты умеешь читать, Антоша?

Этого я не помнил, мне казалось, что я умел читать всегда.

– И считать умеешь?

Дед выучил Антона и счёту, сложению-вычитанию в пределах сотни; таблицу умножения он показывал, играя «в пальцы», и Антон, тоже между прочим, её запомнил.

– Тасенька, – позвал отец, – иди сюда, посмотришь на результаты по системе Ушинского.

Но мама не удивилась, она знала, что Антон уже читает «Из пушки на Луну» Жюль Верна.

– Что будем делать? – сказал отец. – В первом классе станут только алфавит мусолить полгода! Надо отдавать сразу во второй.

– Да он, наверное, писать не умеет, – сказала мама.

– Умею.

– Покажи.

Антон подошел к печке-голландке и, вынув из кармана мел (там держать его бабка не разрешала, но Антон надеялся, что мама этого не знает), написал на её блестящей чёрной жести: «наши войска преодолевая».

– А в тетрадке ты можешь?

Антон смутился. Тетрадки у него не было. Писали они с дедом всегда мелом на той же голландке. Мама дала карандаш. Карандашом Антон только рисовал (его надо было экономить) – на старых таблицах по метеорологии, где в конце страницы всегда было много чистого места. Он очень старался, но получилось плохо.

– С чистописанием слабовато, – сказала мама. – А мел в карман не запикивай, положи.

Было решено, что Антон идёт осенью этого года во второй класс, а дед начинает немедленно, после дня рождения Антона, с 13 февраля заниматься с ним науками не на топчане, а как полагается, за столом, и не когда захочется, а каждый день; чистописание будет контролировать мама как бывшая учительница начальной школы.

Они стали заниматься. За столом всё же почти не сидели – дед считал, что усвоение гораздо успешнее происходит не за партой.

– Кюнце погубил не одно поколение, – говорил он в спорах на эту тему с мамой (позже Антон узнал, что этот Кюнце – изобретатель парт с ячейками для чернильниц и откидными крышками, которые с грохотом Антон открывал девять лет; такие парты он увидел потом в чеховской гимназии в Таганроге). Мама не соглашалась, потому что без парты и правильного держания ручки, конец которой смотрел бы точно в плечо, нельзя выработать хороший почерк. Её учили чистописанию ещё старые гимназические учителя; такого идеального почерка Антон не видел больше никогда.

Бабка рассказывала, что когда она приносила деду завтрак (в трёх салфетках: шерстяной и льняной – чтоб не остыл, и белой накрахмаленной, сверху), то нельзя было понять, перерыв или урок – во время занятий у деда сидели кто где хотел – на подоконниках, на полу, некоторые при решении задач предпочитали бродить по классу, как на популярной картине передвижника Богданова-Бельского «Устный счёт». Недавно Антон прочёл в журнале «Америка» статью о новейшей методике преподавания в младших классах – со снимками. Всё выглядело точь-в-точь как у деда и на картине передвижника, только у деда не было ковров и толстых разноцветных полиморфных пуфиков, разбросанных у американцев по всему интерьеру – видимо, в них особенно проявлялось новейшее слово современной педагогики.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.